

БОЖИЙ УЗЕЛ

АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ

БОЖИЙ УЗЕЛ

23052/466672946/9



ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ЗА 10



АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ

Александр Дорофеев — писатель и художник. Десять лет он прожил в Мексике и написал там множество картин на разные, в том числе религиозные, сюжеты. Общий тираж книг Дорофеева перевалил за миллион экземпляров, и выходили они начиная с 1980 года: «Белый воробей», «Ночная радуга», «Заоблачные истории», «Звезда корабельная», «Московское наречие», «Рыжий ослик, или Превращения», «У меня в груди Анята», «Шухлик, или Путешествие к пупку Земли», «Веретено» и многие другие. По сюжетам его рассказов и сказок снимались передачи «Спокойной ночи, малыши!». Кроме того, он автор книг о Шишкине, Кустодиеве и Врубеле.

Александр Дорофеев — замечательный писатель и великий путешественник.

Совершенно несправедливо считать Дорофеева только детским писателем, хотя, быть может, нет лучше занятия, чем писать и рисовать для детей, нет выше одобрения, чем быть принятым этой непростой аудиторией. Саша быть «детским», кажется, не возражает. А я вот думаю — как же так! А как же мы, взрослые, сильно подростские дети минувшей эпохи? Разве нам не нужны хорошие, даже очень хорошие книги?

Ответ есть, я нахожу его без труда, когда читаю дорофеевские книги вместе со своим внуком Ваней, чувствуя, как его плечо упирается в моё. Мы делим Дорофеева по-братски.

Владимир Салимон,
лауреат Пушкинской премии



ISBN: 978-5-903305-48-3



9 785903 305483



издательство
«ЖУК»

Шорт-лист
премии
«Книга года»
2012

АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ

БОЖИЙ УЗЕЛ

*Моим родителям –
Диме и Алле*



издательство
«ЖУК»



АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ

БОЖИИ УЗЕЛ



Рисовал
Пётр
Подколзин

Москва
Издательство «ЖУК»
2012

Автор и куратор проекта
Юрий Нечипоренко,
при поддержке журнала «Электронные Пампасы»
www.eprampa.narod.ru

Редактор серии
Татьяна Куцубова

Разработка художественного оформления серии
Кирилл Зубченко

Директор издательства
Виталий Кивачицкий

Серия «Для тех, кому за 10» вошла в тройку лучших
детских серий по итогам конкурса «Книга года — 2012»

Д69 **Дорофеев А.Д.**

Божий узел: Рассказы / Художн. Подколзин. — М.: Жук, 2012. —
232 с.: ил. — (Для тех, кому за 10).
ISBN 978-5-903305-48-3

Рассказы Дорофеева похожи на истории об открытиях новых миров, только миры эти находятся не на других планетах, а совсем рядом: в жизни собственного дедушки и родной тёти, в своей семье. Удивительные истории случаются с каждым, но мало их пережить — надо уметь об этом рассказать, и здесь Дорофеев непревзойдённый мастер: слова его нарядны и красочны, фразы напоминают гирлянды, словно писатель не просто сказки рассказывает, а вместе с вами ёлку наряжает. Может быть, всё дело в том, что Александр Дорофеев не только писатель, но и художник, реставратор, потому и слова в его рассказах играют, как краски на расчищенной картине.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Страница проекта на **facebook**
www.facebook.com/DlyaTehKomuZa10

© Дорофеев А.Д. Текст, 2012
© Подколзин П.Е. Иллюстрации, 2012
© ЖУК, 2012
ISBN 978-5-903305-48-3

БОЖИЙ УЗЕЛ

Конёк
Берёзовое пугало
Архив
Паутина на ветру
Царствие ему небесное

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Первое слово
Вечная мерзлота
Без крыши
Пух
Авгурша
У меня в груди Анюта
Снежный человек

ЧЕЛОВЕК-ВОЛНА

Сяку Кэн
Семья самурая
Чистая земля
Спящие в горах
Церемония гэмпуку
Семнадцать ударов меча
Легче пуха
Ганеша
Гора Коя
Племя крылатых тенгу

Встреча духов

Бронзовое зеркало, каменная башня

Путь быстрой волны

Штиль

Чешуя карпа Сёму (примечания)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГУСИК (о Брии Ковале)

От автора

БОЖИЙ УЗЕЛ



А конёк

едушка мой Тулий Силыч, стучась кулаком в мою голову, нередко сулил:

— Примешь эстафету! Сядешь, брындахлюст, на моего коня!

Легко представить, как изнеможённый дед подводит могучего коня, с которым ему уже не совладать. Я запрыгиваю, будто во сне, на широкую спину и — по лесам, полям, горам — неведомо куда...

— погоди! — останавливает Тулий. — Определим маршрут.

И рыжий конь сереет подо мной. Эдак мышет — в масти и стати.

Да и нет, честно говоря, никакого коня у дедушки. Так, коньки-конёчки. Иначе — охота до разных бестолковых дел.

А всё же, признаюсь, за что ни возьмётся, всё у него ловко увязывается и споро бежит. Вроде резвого конька-горбунка. И главное — по маршруту.

Словом, любое дело у моего деда — конёк. Дел по горло и, выходит, коньков — целый табун.

Некоторыми он особо гордится. Например, кактусами, которые внеурочно цветут, мутируют и плодоносят.

— А ведь и я был маленьким балбесом! — замечает Тулий Силыч. — Но вовремя! — вздымает палец. — Принял эстафету от старших!

Кое-как, с натяжкой, можно представить деда малолетним. Но балбесом?!

— Учись, учись, брындахлюст, на ошибках, пока я жив, — говорит он, чуть грустнея.

И рассказывает упоённо о той счастливой поре. Это, пожалуй, его конёк-любимчик — по-

ведать об изжитых просчётах и оплошках. Иной раз, кажется, приписывает себе и чужие для общей убедительности — всё, мол, по силам превзойти и одолеть!

Так, например, неожиданно выясняется, что когда-то юный дед Тулий работал в геологической партии, в песках Кызылкум.

И понадобилось однажды, не дожидаясь машины, сходить в соседний посёлок за какой-то нуждой.

Кругом был тихий-тихий безветренный песок и смирные кустики верблюжьей колючки. Дед шёл себе и шёл, полагая, что ноги выведут. А ноги рассудили иначе — попросту увели незнамо куда.

Обычная история. Всегда одна нога пошустрее, опережает другую. А дед тогда, увы! ещё не знал, у какой ноги какой характер, — и долго петлял по пустыне.

В конце концов увидел три пальмы и водокачку, где чёрный паровоз заправлялся водой, и понял, что заблудился. Отчаявшись, пополз на четвереньках. И вероятно, руки уравнили ноги. Путь выпрямился, хотя к тому времени был так ужасно искривлён, что дед выполз обратно к палаточному лагерю.

— Понавязал узлов, брындахлюст? — встретил его строгий начальник экспедиции, нехотя собиравший людей на поиски.

— Ничего я не вязал! — буркнул разгорячённый песками Тулий.

Он стыдился неразумности ног и возвращения на четвереньках. И не подозревал, что «связать узел» означает просто заблудиться, вернуть-

ся, напетляв, на прежнее место. К тому же его сильно задел этот неведомый «брындахлюст».

На другой день прилетел «кукурузник» для аэрофотосъёмки. И дед вдруг понял, что его место, конечно, в небе, а не в песках. Когда самолёт набрал высоту, он увидел весь свой причудливый путь, сохранившийся посреди барханов и неприметной верблюжьей колючки.

— Коровий узел! — крикнул пилот.

Дед было снова обиделся. А пилот достал верёвку и накрутил из неё нечто, очень похожее плетением на след в пустыне.

— Коровым привязываю авион к столбу! — орал он в ухо. — На случай песчаной бури! Простой узел! Вот если б ты, брындахлюст, по «бараньей ноге» петлял, остались бы от тебя рожки да ножки...

Юный дед был поражён.

«Наверное, так уж устроен человек, — якобы подумал тогда Тулий. — Вяжет узлы там и сям, когда надо, когда нет. И не умеет распутать. А надо бы знать всю возможную кривизну и загогулины!»...

С тех-то пор он и охотился за узлами. В доме его с потолка и дверных притолок, с лампочек и со множества специальных гвоздей свисают верёвки, облепленные узлами, как гнёздами каких-то паразитов. Наверное, их тысячи. И у каждого своё название. И каждому будто бы своё назначение. Дед, конечно, все выучил наизусть.

Узлы курьерские и бурлацкие, мельничные и пожарные, пиратские и боцманские, скорняжные и охотничьи. Можно отыскать акулий узел и шучий, змеиный и верблюжий, устричный

и черепаший. Есть даже родильный, которым пупки завязывают.

А на почётном месте в красном углу — «мартышкина цепочка», «кошачья лапа», «травяная петля» и «мокрый полуштык». Не говоря уж о «бараньей ноге» и коровьем, с которого началось всё это узловое безумие.

— Да это малая часть известных человечеству, — говорит Тулий с придыханием. — Недавно освоил узелковое письмо! Однако не с кем переписываться... — и поглядывает на меня, как на безграмотного олуха.

Как ни зайду в гости, на столе обязательно лежат в ряд ровно нарезанные верёвочки. Дед вдумчиво, безмолвно разминает пальцы, как пианист-виртуоз, закрывает глаза и отворачивается, чтобы я не думал, будто подглядывает. Верёвки мелькают в руках, струятся меж ладоней, вожделя слияния. Какой-то миг, и вот — соединились. Свились, сплелись, скрутились, создав мудрёную тварь, вроде го-мункулуса, с плавной петлёй на шее.

— Король узлов! — любитесь дед, лаская пальцем. — Ему пять тысяч лет! Ещё древние египтяне вязали, когда пирамиды строили.

Никогда, сколько помню, не глядел он этак на меня, сроду не приголубил.

— Да кому они сейчас-то нужны?! — ни с того ни с сего говорю в сердцах.

Онемев на время, дед созидает для успокоения пару невероятно крупных узлов, подобных головам античных мыслителей, после чего холодно ставит меня на место:

— Куда ни плюнь, брындахлюст, всюду узлы! Все вяжут. В прямом и переносном. Есть гипоте-

за, по которой мир наш, вселенная — один громадный узел из трёх, так сказать, верёвок...

Понимая, что гипотеза для меня чрезмерна, Тулий Силыч безысходно машет рукой и переходит к стаду кактусов.

— Понюхай, — суёт в нос лохматое чудовище с чёрным смердящим цветком на макушке. — Ну, в полнозри!

Я вежливо нюхаю, удручённый срывом, киваю, выказывая упоение, и думаю про себя...

Где же, думаю, в каких заповедных лугах бегает сейчас, пасётся мой конёк? Доберусь ли до него когда-нибудь? Признаю ли в нём своего? Или так и останусь до конца дней моих брындахлюстом, ничем по сути, поскольку и слова-то такого не существует...

Есть брандахлыст, иначе говоря — бездельник, праздношатающийся. Вот это даже удивительно, насколько мне подходит...

Хотя, если разобраться, — уж не дедушка ли Тулий Силыч мой конёк?

Эдакий генерал вообще — от инфантерии, кактусов, узлов и жизни. Эн хенераль, как изъясняются латины.

Да, Тулий Силыч ещё тот узелок, похожий на фигу, крепко-накрепко сложенную Создателем!

Как ни крути, а Божий узел, который с виду хоть и прост, а хрен сразу распутаешь.

БЕРЁЗОВОЕ ПУГАЛО

Дрозды клевали на огороде клубнику. Они резко и жирно квохтали, подзывая приятелей. Рано утром склёвывали ягоды. До половины со спелого бока.

Толстые коричневые тельца упруго подскакивали в клубничных зарослях. Наглый грабёж!

С криками выбегал я из дому. Дрозды, треща крыльями, стрекоча, якобы напуганные до смерти, скрывались в кронах деревьев. Следили оттуда, когда мне надоест торчать на огороде. А надоедало быстро — делать тут было нечего, если не клевать клубнику.

У сарая подыскал я двухметровый берёзовый кол. Прибил перекладину. «Вот и человек поначалу-то был так же прост — тяп-ляп. А вон как изменился!» — думал, роясь в сундуке. Откопал две шляпы и три пиджака. Шляпы — летние, соломенные, мятые. Пиджаки — хоть куда! Один ещё недавно дедушка носил. Двубортный и при-
таленный.

Сундук облагораживает — чем дольше вещи лежат, тем более в них значительности. Цвет матереет, покррой моднеет. И нафталин ароматен, как тонкий одеколон.

Подвернулись рыженькие искристые брючата и галстук с попугаем. В облаке воспоминаний вернулся я к берёзовой крестовине. Пиджак был тесноват в плечах, и я обпиливал перекладину, когда подошёл дедушка.

— Что это тут? Одежду разбросал...

— Пугало строю. А то клубнику клюют.

— Какая клубника, если спать до полдня!

Птицы умнеют, а иные люди — никак. Попилил бы дрова, чучелко!

Отвлекая дедушку, я прикинул рыжие брючки, едва достававшие до щиколоток.

— А когда-то впору были...

— Здорово вымахал, — вздохнул дедушка.

Сбить его с дороги было мудрено, и я покорно слушал, разбирая сундучное добро.

— Не много нажил, — заканчивал он. — Разбрасываешься! А человек должен иметь твёрдую цель в жизни. Эх, чучелко, — махнул рукой, вытащил из кучи шляпу и, примеряя, удалился в сарай, откуда враз послышалось жужжание, постукивание, завывание. Дедушка точил по заказу общества кружевниц деревянные колокольчики. Выходили как настоящие — с деревянным же язычком. Берёзовые колокольчики подвешивали на сплетённые кружева. Они, конечно, не звонили, а скромно постукивали. Когда дедушка вытаскивал из сарая связки колокольчиков, они косноязычно шелестели, как баранки.

«Пугало — не чучело, — думал я, прибивая к берёзовой крестовине берёзовые руки и ноги. — У пугала твёрдая цель — пугать!»

Гвозди входили уверенно. Сухой стук прыгал среди сосен. Крест преобразился в голую и суровую древнюю букву, которую неизвестно, как произнести. Лучше прикрыть одеждой.

С рубашкой и пиджаком хлопот не было. Зато штаны не налезали, цеплялись за сучки. Наверное, так же трудно обрядать одеревеневших покойников. Подпоясав верёвочкой, я поставил его на ноги и глянул — как бы вдруг.

У куста бузины, чуть косовато, замер, вроде подстерегая, мрачный мужик, — из ворота руба-

хи торчал берёзовый обрубок. Казалось, голову только что отсекли и мужик ещё не догадался.

Торопливо накрутил кулём ветхую простыню, разгладил морщины на будущем лице и нахлобучил шляпу.

Однако в руках пусто. Отыскал прошлогодний жёлтый портфель и прибил сапожным гвоздиком. Мужик сразу приосанился, белея из-под шляпы пустой простыночной мордой. Хотелось нарисовать хорошее лицо, с доброй улыбкой. Но вылезли сами собой голубенькие унылые глазки, мягкий розовый нос, вялый румянец на дряблых щеках и оплывший подбородок. Не такого я задумывал. Впрочем, уж каков уродился. «Тулий Силыч, — слышалось, — со стажем».



Подхватив, бережно отнёс на огород. Воткнул у клубничной грядки в рыхлую землю. Снял шляпу. И обухом топора вlepил по белому темени — простыня расплзлась, выперла берёзовая кость. Воровато оглянувшись на дорогу, ударил ещё пару раз, и Тулий Силыч утвердился охранять посевы.

Рваное небо плавало в облаках. Пустая асфальтовая дорога была серо-синей, холодной, как осенняя река. Сосны убегали высоко вверх и там мотались из стороны в сторону под ветром. Трещали, как сороки, дрозды, носясь меж деревьями. В сарае выл дедушкин токарный станок. И только пугало Тулий Силыч, со стажем, стоял недвижно средь огорода. Даже жёлтый портфель не шевелился в его руке.

Порывами, как из лейки, сыпался дождь, и простыночное мятое личико менялось как хотело. Из-под носа вытекли усыки, возникли лох-

матые бакенбарды и неприятные складки вокруг рта. Совсем противным стал Тулий Силыч, а всё ж отчасти родственным. Подобное, верно, могут чувствовать пожилые родители к не оправдавшему надежд стареющему сыну.

— Обед! Обед! — покричал от сарая дедушка, взмахивая деревянным колокольчиком. — Фу ты ну ты! — подошёл к грядкам. — А я смотрю — с кем на огороде топчешься?! Бродяжка какой-то! Вон как опуститься можно — пиджачишко затрёпанный, штаны вкривь-вкось. А шляпа на что похожа? Воронье гнездо! Погоди — другую принесу.

Дедушка сходил в сарай за шляпой и сам надел Тулию Силычу — чуть на затылок, с наклоном влево, заливхватски, как сам носил.

За обедом всё косился дедушка в окно, на огород.

— Тьфу! — не стерпел во время компота. — Так и кажется — чужие бродят! Поставил ты чучело на беду! Смотри, обчистят. И пиджак неплох, и шляпа свежа. А портфель! Сам бы носил.

— Потерпи до осени, — попросил я. — Без портфеля Силыч сам не свой.

— Какой ещё Силыч? — нахмурился дедушка. — Вот обчистят, отчества не спросят! А главное — огород потопчут. Эх, всё бездельем маешься, чучел строишь! А пора бы себя строить, не трата времени.

После обеда дедушка пошёл отдохнуть, а я заглянул в сарай. Тут было множество приспособлений, инструментов и совсем непонятных металлических загогулинок. И всё на своём месте — в покойной строгости. У дедушки каждый

немой инструмент — молоток, пила или стамеска — знал своё место. Какая-нибудь захудалая проволочка на специальном гвоздике. Болтик или шурупчик в определённом ящичке. Любопытно разглядывать молчаливые железки. Хотя с дедушкой-то они вовсю разговаривают. Одни повизгивают, другие ворчат и поскуливают, третьи только соглашаются — да, да, да. Этих-то я хорошо понимал. Спорить с дедушкой впустую. Ворчи или повизгивай, а всё равно скажешь — да, да, да. Дедушка всегда прав.

Так раздумывая, покинул я сарай и направился на огород к Тулию Силычу. Тронул за плоское плечо, ощутив под пиджаком, как и следовало, неотёсанную палку. Тяжёлая черноватая туча выбиралась из-за сосен, и в предгрозовых сумерках Тулий Силыч насупился. Беспокойство и хлопотливость появились в тряпичном лице — на полвека состарилось оно за прошедший час.

Редкие прохожие спешили по дороге. Тётка с авоськой замерла у забора и долго приглядывалась к Тулию Силычу. Рукой помахала. Крикнула — эй! Но Тулий-то Силыч и глазом не повёл. «Нежить!» — ахнула тётка и заспешила прочь.

Всё же знал своё дело Тулий Силыч. Попугивал. Сами дрозды его сторонились, суетясь вдали от грядок.

Выплыла белая лошадь, впряжённая в повозку, на которой куковал старьёвщик Соловей.

То и дело вскрикивал: «Старьё брани да со двора гони!» Слова будто прыгали по ухабам — кое-что подскакивало, остальное без следа западало. Висело, как дряхлый ковёр на верёвке, по-

битое молью заклинание — арё-ани-дара-ани!

Соловей остановился у ворот, зашёл и — прямо к Тулию. Пиджак пощупал. Понюхал портфель.

— Свой парень! Беру в товарищи — кобылу стеречь. Даю, согласен, пистолет со свистком.

Прихватил Тулия Силыча за плечи, уже раскачивая, таща, как овощ, из земли.

— Погодите!

— Годить да чай пить — жизнь фью-ить! — свистнул Соловей, отступая на шаг. — Вижу, согласен, что родня тебе. Однако ж подумай — два пистолета, согласен. Загляну на днях!

И пошёл к лошади, бледневшей, как вечерний туман. Прыгнул в повозку и сразу исчез, будто провалился меж буераков под землю.

Похолодало. Полярный ветер проносился чуть выше сосен. Низко, чтобы не угодить в эту зиму, пролетали две вороны, беседуя, как немые, крыльями. Вдруг расстались — одна села на сухую берёзу, другая полетела в просветлевшее на закате небо.

Постукивая колокольчиками, вышел из сарая дедушка. Голова засыпана тонким опилочным пухом. Опилки лежали на лице. Забились в складки вокруг рта, растопорщили усики и бакенбарды. Приобнял я дедушку, ощутив под пиджаком сухое воробьиное тельце с острыми лопатками.

— Будет баловаться-то, — отстранился он. — Что успел за сегодня?

Я огляделся, припоминая, но всё вокруг молчало обо мне.

— Зря день прожил, — кивнул дедушка. — Не будет из тебя толку!

— А от тебя-то какой толк? — прошамкал вдруг Тулий Силыч. — Разве что к Соловью в то-

варищи — кобылу стеречь.

Дедушка встрепенулся и откашлялся, будто услышал, но не разобрал ясно, а переспросить-то вроде и некого. Опилки посыпались с лица. Он махнул рукой и пошёл в дом. Берёзовые колокольчики шелестели ему по дороге какие-то деревянные слова — мол, вечер, спать пора. А спал дедушка уверенно, лёжа на спине, руки вдоль, упрямо дыша носом. Умеет ли кто спать правильной?

Взошла внезапно пятнистая луна. Я посидел у дома на скамейке. Овернуться бы пугалом, стоять меж грядок долгие годы, безмолвно, твёрдо зная, что делать, всё понимая, всех любя, пугая беззлобно птиц и охраняя урожай.

Войдя в дом, выключил свет и поглядел из окна. Луна теперь была ясная, без пятен. Поблёскивали листья. Мутно светилась парниковая плёнка над огурцами и помидорами. А где же Тулий Силыч? Не видать!

Окно запотело, и луна растянулась по небу светлым столбом. Протарахтел на дороге мотоцикл.

Я выскочил на улицу. Сосновые лапы медленно ползали по луне. Холодный ветер сошёл на травы. А Тулий Силыч укрылся, кажется, за ёлкой. Вот он, стоит, не шелохнётся. Воротник поднят. Портфель в руке на гвоздике.

Подкравшись сзади, я отвесил подзатыльник, — шляпа покатилась, вихляясь, по сырой тропинке. Тулий вроде присел. Тогда я щёлкнул по холодному скользкому носу, отчего состроилась диковатая нездешняя гримаса. Силыч отпрянул и застыл с жалкой улыбкой.

— Какой из тебя толк? — бормотал я, стаски-

вая с него пиджак.

— Толк? — переспрашивал суетливо Тулий Силыч. — Какой толк? Из меня толк? Польза или прок?

Рубашку он никак не хотел отдавать, цеплялся каждым сучком. Да, видно, ослаб — руки и ноги в штанах отвалились без борьбы, как сухие ветки. Когда я разматывал простыню с перекошенным лицом, глаза его были полны укоризной.

Озираясь на дорогу, поспешил в дом. Полная луна всё так же лезла в окно. Долго не мог заснуть, вертелся, чувствуя внутри простую берёзовую крестовину, как у бывшего Тулия Силыча, — тятляп. Хоть бы листики какие распустились...

Ранним-ранним утром, которое мне обычно лишь снилось, по огороду с лейкой в руках бродил дедушка. Наклонялся над клубничными кустиками, и лицо его разглаживалось. Улыбаясь, шурясь на солнце, приостановился у берёзовой крестовины, вбитой среди грядок. И, как бы померившись ростом, пошёл к сараю.

А на крестовину уселся дрозд. Вертелся из стороны в сторону, как флюгер, подрагивал хвостом, шею тянул, голову набок — недоумевал вроде, откуда берёзовый кол вместо серьёзного человека со стажем, Тулия Силыча, пугала огородного.

КОНЁК

этой истории так много тёмных и смутных мест, что не знаю, как рассказать. Со временем ещё больше потемнело, замутилось.

Хотя, как от редких ночных фонарей, есть-таки светлые пятна и проблески. Так что начну потихоньку, чтобы не слишком спотыкаться.

Была осень, и, тепло одетый, я потел, волнуясь, у косяка тяжёлой кожаной двери. Слушал, как стрекочут секретарши. Руки неотделимы от пишущих машинок, а головы — сами по себе, большая с гребнем и маленькая в кудряшках, что-то обсуждают.

Когда я в детстве садился на горшок, то обязательно рисовал, лепил из пластилина, а дедушку заставлял читать книжку. «Ты как Гай Юлий Цезарь, — убедительно говорил он, — враз столько дел! У тебя великое будущее!»

Однако где оно? Потеряно, что ли, в пути?! Вот дожидаюсь, скромный проситель, не примут ли на какую-нибудь работу...

— Снимите фуражку, — приказала большая голова.

Кепка меня украшала. Мохнатая, редкая, как уссурийский тигр. Лёжа на затылке, придавала уверенности, поддерживала. Но, конечно, снял крепя сердце...

Директор Дубинкина, белоснежно-пухляя, как рукодельная подушечка, в рюшах и бантиках, глянула вскользь, будто на залежалый прошлогодний товар, который если и брать, то даром:

— В архив, — черкнула на бумажке. — Архивариусом.

О, как неожиданно красиво прозвучало это — архивариус! Тут где-то рядом архитектор, архи-

мандрит. И даже архангел. Вполне окрылённый, вылетел я от Дубинкиной. Хотя и недоумевал, почему мне такая честь? Или прав-таки был де-душка? Я позвонил ему из автомата.

— Поздравляю с должностью! — сказал он. — Архив, или архиво, — помимо прочего, означает тайник и кладёзь премудрости. А ты теперь его хранитель! Старайся соответствовать.

В тот вечер, размождённые дождём, сияли на улице фонари. В подвале соседнего медицинского дома хором брехали собаки. И угрюмая, как в пушечном стволе, тишина исходила от маленького с виду морга, укрытого осенней мглой.

Приехав домой, обнаружил, что без кепки. Казалось, не могла пропасть, вернётся. Заглядывал в телефонные будки, спрашивал у секретарш, смотрел украдкой на головы прохожих. Но кепка навсегда исчезла из жизни. Возможно, с нею меня ожидали другие, лучшие, пути.

Мой архив располагался в подвальном этаже за зелёной железной дверью с замком, напомним пудовую гирию. И выяснилось постепенно, что ключ давно утерян. Возможно, лет двадцать назад, ещё до моего рождения. Никто не мог сказать, как же быть. Даже Дубинкина отмахнулась:

— Посидите пока с курьерами, а там разберётся...

Обстановка в курьерской была домашней. Электрочайник, стаканы и чашки, рафинад в стеклянной банке и щипчики к нему, баранки, сухарики, там и сям леденцы, обёртка которых отделялась только во рту, — хочешь, выплюни, а хочешь, проглоти. Два пожилых курьера,

оба Иванычи, носили из дому пищу в термосах и судках. Обедали на заказных письмах, придавая им теплоту и душевность.

Приняли меня хорошо, опекали и как-то жалели.

Младший Иваныч часто убывал с пакетами. А старшего уже не тревожили — он терял письма или доставлял не по тому адресу, да к тому же избегал всякого транспорта, кроме своих ног в специальных башмаках-скороходах, пошитых с полвека назад.

Этот Иваныч, по имени Ангел, оставался при механическом железном ящике, намертво привёрнутом к столу, с ручкой, как у мясорубки. Письма и бандероли, сунутые внутрь, вылезали со штемпелем, готовые в путь. Это было наслаждение — крутить ручку, ощущая сопротивление толстых конвертов. Старший Иваныч так распалялся — писем не хватало! — пропечатывал всё подряд, даже носовой платок, отчего нос становился сизоватым, с едва различимыми письменами.

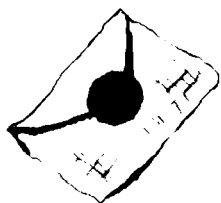
Я проводил с ним много времени, слушая были о гонцах и посланцах, начиная с Марафона.

«Курьер — это дурь немецкая! Курья беготня! Не признаю, — говорил старший Иваныч. — Вестник я! И в роду у меня все вестники. То есть ангелы, если по-древнегречески. Куда нас только, мил-сердечушко, не посылали! И с благими вестями, и с погаными. Одаривали, угощали за богатыми столами, а другой раз били до смерти. Доставить весть, а там хоть помереть — такая у ангела служба!»

С курьерами было уютно, но так ведь и жизнь пройдёт, неприметно, впустую, под крылом у старшего Иваныча. Хотелось на свою подвальную должность, в архив.

— Брось ты, мил-сердечушко! Забудь, — махал обеими руками Ангел Иваныч. — Хоть я не суеверный, а дурное это место!

И нашептал горячо прямо в ухо, что ещё помнит прежнего архивариуса, милейшего Маныча-Гудило, которого вроде бы арестовали и, кажется, расстреляли за потерю ключа. В общем, сгинул человек. С тех пор архив не открывали. И что там творится — никому не ведомо. Только слышно — шорох и бормотанье, никак не успокоятся.



Я посоветовался с дедом.

— Легче всего плыть по течению, — сказал он. — Но на твоём месте я сам бы отпер эту дверь, доказав всем, что на многое способен. Не отступай перед замками!

Я пригласил местного слесаря, остриженно-го под гирю, и знакомого домушника из нашего двора. Не более минуты потолкались они у архивной двери.

— Да, брат, — вымолвил слесарь. — Такого не видал. Разве что динамитом!

А домушник очень от бессилия озлобился:

— У тебя чего — засор?! Куда тут отмычку совать? Гляди, шкалик, что написано, — шестнадцать кэзэ! Я тебе не культурист, с гирями дела не имею... — и отвесил какой-то особенно трескучий уголовный подзатыльник с вывертом.

Действительно, на двери в надёжных стальных скобах покоилась чёрная пудовая гирия,

слегка напоминавшая замок. «Может, такое бывает — замки от времени деградируют и превращаются в гири, — пытался думать, сидя под стеной. — Ведь был когда-то ключ! Иначе бы не расстреляли милейшего Маныча-Гудило». Оставалось идти к Дубинкиной с позорным докладом — мол, не могу проникнуть на место службы.

Тогда-то и возник в подвале хромой юноша по имени Уран, с огромным кроликом в руках и ножовкой по металлу.

— Ты архивариус? Вот ключ — пили! — сказал он просто. — А то всю жизнь тебе покоя не будет.

С Ураном мы и раньше встречались. Он трудился в лаборатории, где проводили опыты над кроликами. Иногда прихрамывал в курьерскую — повертеть ручку железного ящика, и рассказывал, какие они умные, хитрые да ловкие, эти кролики, как роют отдельные удобные квартирки под землёй, как любят родителей, а заметив врага, предупреждают остальных сильным топотом задних ног.

— Не пойму, — говорил потом Ангел Иванович, — почему хромает? Нету видимых причин! Разве что глаз косит, уши как бананы да имя какое-то нелюдское... Похоже, в армию не хочет!

В общем, дружеских чувств у меня к Урану не было. Однако я взял ножовку и примерился к гире, соображая, насколько тупо выгляжу.

— Пилите, Шура, пилите! — подбадривал Уран. — Всё повторяется в этом мире на новый лад! И глупость становится доблестью!

Гиря потеплела, запахла, как кетчуп, кисловатым металлом. Вяло отваливалась тяжёлая лип-

кая стружка. Руки дрожали, я нервничал, будто каторжник, готовящий побег.

— Хорошо! Отлично идёт! — успокаивал Уран. — Пили, сколько сил достанет, а я пока расскажу о кроликах, — поглаживал он серебристого, голубоглазого, который раскинул уши и затих на груди, как дитя. — Вот, бельгийский Фландр! В длину около метра, весит десять кило. Но главное, у него такое строение нёба, что он, в отличие от зайцев, способен говорить! Однако слушать не хотят! Плевать на то, что кролик скажет!

— Им только кровь моя нужна, — послышалось глухое ворчание, — для реакций Уленгута и Фриденделя...

Оглянувшись через плечо, увидел краем глаза Урана и Фландра, косоватых, грустно кивавших ушами.

— Хорошо бы отрубей со свежей травкой, — вздохнул кролик.

Пошла визгливо вкривь ножовка. Крикнула резко, как ночная птица. И упал сплошной занавес серых марлевых потёмков, где ярко замелькали — архив и гиря без ключа, курьер Иваныч, вестник Ангел, дедушка Тулий Силыч, милейший Маныч-Гудило в кандалах, Дубинкина, хромой Уран и Фландр, болтавший по-бельгийски, а также знакомый слесарь и домушник. То ли подзатыльник был слишком тяжёлый, до лёгкого сотрясения мозга?!

Медленно-медленно протискивался из тесного, жёсткого, будто жестяного, свёртка к рассеянному свету. Странно было, что лежу на полу, склонился Уран, а поодаль, испуганно мигая, сидит на корточках здоровенный кролик.

— Ну, ты даёшь,— говорил Уран, прикладывая ко лбу холодную влажную тряпку.— Сразу видно, что гири не пилил! Едва не покалечился...

Палец на левой руке был запелёнат бинтами, как египетская мумия, и торчал отдельно, указывая на гирю.

Уран поднял ножовку:

— Отдохни, побеседуй с Фландром, а я поработаю.

После обморока ничего не приходило в голову. Кролик прятал ушами, подёргивал носом, но, видно, стеснялся заговаривать первым. И мы сидели молча, глядя, как ловко Уран пилит гирю, будто она деревянная.

— Мне Фландр рассказал, что за дверью! — улыбался он.— Поверишь ли? Этот кролик — маленький король, и там его королевство.

«Почему бы и не поверить? — размышлял я, поглядывая исподтишка на кролика.— Возьму да и поверю! Это куда легче, чем сомневаться!»

Тихонько поклёвывало палец, а в голове стало легко, безмятежно, и маленький король с Ураном казались давними близкими друзьями.

Внезапно гиря рухнула на пол, так что весь дом содрогнулся, и раскололась как орех. Я ожидал, что вылетит утка или выскочит заяц, какой-нибудь подданный Фландра со срочной депешей, но выпал небольшой ключ с двойной бородашкой.

— Где-то замочная скважина,— бормотал Уран, ощупывая дверь.— Нарочно замазана краской...

Фландр не сдержался и начал высоко подпрыгивать, крутясь на месте, точно собака, которой невтерпёж погулять. Однако тут же опом-

нился, смутился и чинно уселся, будто на троне, с прямой спиной, сложив лапы на груди и растопырив уши. Только беспрерывно подмигивал и широко зевал от волнения.

Наконец Уран скovyрнул какую-то нашлапку и открылась замочная скважина. Повеяло из неё, как из колодца.

— Ах! — воскликнул кролик и протянул мне ключ.

Трудно сказать, о чём я думал, когда поворачивал его в двери. Вспомнил, кажется, милейшего Маныча-Гудило. Ключ щёлкнул, будто осечка револьвера. И дверь медленно, сама собой, затягивая меня, поплыла внутрь.

Сперва показалось, что стены архива оклеены обоями, на которых утро в сосновом бору. Песчаные холмики и лощины, заросшие низким кустарником. Любимые места кроликов.

Да вот сидит парочка под кустом. Посмеиваются, усы разглаживают. Лёгкий ветер теребит траву, покачивает верхушки сосен. И нет в помине никаких стен и обоев! Небо высоко. Дятел гулко колотит сухую ветку. Поползень царапает кору, перебегая по стволу вниз головой. Жарко пахнет смолистой хвоей.

— Вот архив! — услышал я Урана. — Тайник и кладезь, ёлки-палки! Королевство! Заходи, или оставайся, как хочешь, — только дверь прикрой, — и он шустро, совсем не хромя, поскакал вдаль за кроликом Фландром.

Видно, им и без меня было хорошо. Даже прекрасно без меня. Ускакали не оборачиваясь. Ну что ж — у каждого свои пути! И я, попятившись, закрыл дверь.

И разве что мигнуть успел, как вновь открыл, потому что померещилась, мелькнула, кажется, в кустах моя тигровая лохматая кепка. Да и с кроликом толком не поговорили...

Затхлостью дохнуло. По глухим стенам тянулись полки из грубых досок, заваленные синими бумажными свёртками, какие выдают в прачечной. Меж ними тревожно шуршали огромные чёрные тараканы, ещё помнившие, наверное, милейшего Маныча-Гудило. И сколько я ни хлопал дверь, сколько ни открывал — и разом-вдруг, и мало-помалу — всё было то же. Разве что тараканов переполошил...

— Эх, мил-сердечушко, да что ты быёшься, как муха о стекло! — разохался, подлетая, Ангел Иваныч. — А я думаю, куда запропастился? Ох, да ты решительно сомлел! Это ж тебе не замок, а буквально гирия... — Он приложил ухо к двери. — Всё бормочут, шуршат, окаянные. Старые дела, а беспокойные.

Ангел Иваныч увлёк меня под руки в курьерскую. Попив чаю с баранками, сухариками и леденцами, отдышавшись, я написал кое-как — мешал перевязанный палец — заявление об уходе, поставил на нём штемпель, пропустив через железный ящик, отнёс Дубинкиной и весело, через три ступеньки, поскакал на волю.

Похоже, всё так и было.



ПАУТИНА НА ВЕТРУ

как приятно думать, что ты хороший человек! И вокруг все таковы же, а может, и много лучше.

Как-то на ночь глядя сидели мы втроём, пия чай, в хлипком дощатом домике под вековыми соснами и елями.

А прежде, днём, с приятелем Митей копали на огороде картошку.

Солнце светило издалека, мягко. Затворялось осеннее небо. И уплывали в другие миры серебряные нити-паутинки.

Картошка прыгала с лопаты, будто застигнутая врасплох — как подсечённая рыба. Митя, выросший в деревне, был умелым картофелеловом. Он точно чуял, где копнуть, чтобы не изувечить картошку. Он нежно поднимал её, поглаживал и нюхал, как фрукт. А в глазах его отражались те серебряные нити, которые уводят далеко-далеко. И Митя вспомнил о котлетах — как впервые, угодив из деревни в городскую больницу, попробовал — и что же это было за наслаждение, эти больничные котлеты! Он книжку о них написал и хотел писать продолжение. Но ещё сомневался — может, лучше о картошке...

В дощатом домике тем временем нас поджидал, готовя обед, автор мирных картофельных грядков и толстых военных книг дедушка крепкий Тулий Силыч.

Накопавшись, сидели мы за столом так основательно и умиротворённо, как могли бы, наверное, богатыри после рати. И я впервые ощутил благодать братской работы, которая связывает крепче крови.

Тулий Силыч степенно, как древний сказитель, поминал о фронтах и битвах, переходя

плавно на огородничество и борьбу с вредителями картофеля. Митя рассказывал о внезапной службе в Большом театре, о знакомстве с Плисецкой, по просьбе которой построил специальную табуреточку. Их речи были подлинны и трогали душу, как те серебряные паутинки, плывущие неведомо куда под осенним солнцем.

День угасал тихо, как праведник. И когда мы перешли к чаю, я горячо любил всех — дедушку Тулия Силыча, Митю, картофель с ботвой, Плисецкую и даже некую табуреточку.

— Ты, Митюша, обязательно напиши об этой табуретке, иначе не прощу! — грозил пальцем Тулий Силыч. — Рассказ напиши, а лучше повесть! Ты настоящий писатель — знаешь, о чём и как!

— Да чего там, — разнеженно, будто ел котлету на завалинке, мурлыкал Митя. — Кто писатель, так это вы! И картошка у вас, ей-богу, превосходная — ровно «Война и мир».

— Эх-эх, «Война и мир», — вздохнул Тулий Силыч. — Мог бы потянуть что-нибудь эдакое, кабы не колорадский жук. Всё время с ним воюю, пропади пропадом! — махнул рукой за окно, во тьму, где отражались мы трое, сидящие дружно в хрупком дощатом домике, и виднелись без просвету сосново-еловые стволы, так что казалось — мы в прочном срубе. Да едва ли есть прочность в этом мире...

— А почему его зовут — колорадский? — спросил я, стараясь пробудить в себе хоть какую-то неприязнь к этому жучку.

Тулий Силыч сразу встрепенулся, словно ожёгшись чаем.



— Да потому! Американцы рассеяли над нашими полями! В Колорадо взрастили, чтобы тут расплодись! С тех-то пор и началось крушение страны.

— Ну уж, ну уж! — обжёгся и Митя. — Чего на других пенять, когда сами по уши.

— Сами? — болезненно насторожился Тулий Силыч. — По уши?!

Я даже не успел сообразить, куда устремилась вдруг тихая речка беседы, — к каким камням, к какому водопаду. Всё перевернулось разом, будто песочные часы, и время посыпалось сызнова — в другую сторону, в пустоту.

Тулий Силыч заметно осунулся, и белые спокойные его волосы пожелтели и вроде пошевеливались.

— Выходит, мы тут всё развалили и унизили? Так, что ли?!

— Да выходит, что так, — отвечал Митя.

— Кто? — еле выдохнул Тулий Силыч. — В моём доме говори без обиняков! Прямо говори — кто развалил?!

А у Мити характер эдакий деревенско-городской, смешанно-неустойчивый, вроде сенокосилки на Арбате. «Сейчас скажет», — подумал я, глядя с тоской в покойное ночное небо, и быстро предложил:

— Может, картошку покопаем? Вон, луна вошла...

Тулий Силыч мельком, раздражённо кинул взгляд на полную наглую луну, попрунную когда-то не нашими башмаками, и оборотился ко мне.

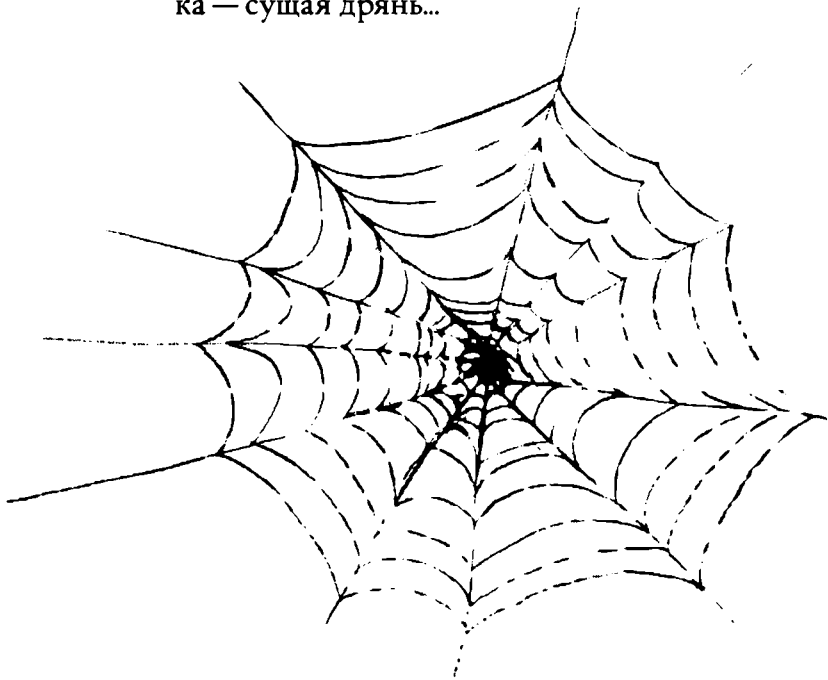
— А ты-то знаешь, кто такой? Ты — паутина, мятущаяся по ветру!

Это был сильный, гвоздильный образ. Такой вдруг не родится! Понятно, речь шла не о тех серебряных нитях. Имелась в виду иная паутина — грязная, драная и пыльная, с усохшими мухами, мотающаяся в тёмном углу под сквозняком.

И Митя, казалось, был согласен — яростно грыз баранки в двух измерениях, прихлёбывая в третьем чай, а меня не замечая. Будто и не копали вместе картошку.

Я вышел из жиденького дощатого домика под сосны и ели, вполне ощущая себя паутиной на ветру. Так, мотаюсь...

Впрочем, чем лучше дедушка крепкий Тулий Силыч?! Всё писал, как при атомной войне ловчее от бомбы укрыться. А Митя — хренов сочинитель котлет и табуреток! Да и Плисецкая тоже, небось, ещё та штучка. Ну уж а табуретка — сушая дрянь...



Мой дедушка пукал только в парке. Помню, например, как это было на ВДНХ. Мы забрели в пустынную аллею.

— Вот, теперь можно,— сказал он, оглядевшись, и так здорово пукнул, что с деревьев поднялись вороны.— Надо выпускать газы, чтобы не давили на внутренние органы. Это вулканизм, как в природе! Но человек должен управлять своим организмом — не делать этого где придётся, в метро или в автобусе...

Мне было неловко, что не смог его поддерживать. Если бы удалось, то дедушка, может, теплее бы ко мне относился. Думаю, именно на ВДНХ между нами возникло отчуждение.

Он был безымянным. Вряд ли я назвал его хоть раз — «дедушка» или «дед». Ему это совсем не подходило. А «Тулий Силыч», по имени-отчеству, тоже глупо звучало бы от внука. Не зная, как обращаться, я говорил просто — «ты». Так древние люди, опасаясь, не произносили вслух имя Господнее.

Он всё делал верно и строго. Правильно. Возможно, какие-нибудь правила ему не нравились, однако он их соблюдал, в пример другим. Показывал, как надо поступать. Он знал, сколько сантиметров в его шаге. Знал, сколько шагов и ударов сердца от дома до трамвайной остановки. Всегда был точен. Недаром в юности сочинил себе временное, на иностранный лад, поскольку изучал эсперанто, имя, или псевдоним,— Вольский-Пунктуаль. Так он подписывал заметки в газете «Власть труда».

Редко когда у него что-то не получалось. Мне известно не более трёх промашек, если вообще их можно так назвать.

В детстве он боялся высоты и, конечно, хотел избавиться от этой слабости. Он забирался по железным скобам на огромную кирпичную трубу безлюдного после гражданской войны завода. На сорокаметровой высоте, где труба мерно покачивалась под ветром, садился учить уроки.

В конце концов так освоился, что тёплым весенним днём улёгся на вершине по дуге, читая книжку. Разморился на солнце да и заснул. А пробудившись, потянулся, открыл глаза и не сразу понял, куда глядит, — перед ним зиял бездонный чёрный пролёт, шумное и гулкое затягивающее жерло трубного ствола. Ноги свисали. Одно движение спросонок, и нас бы не досчитались в этом мире...

Он не помнил, как спустился. Книжка про сыщика Ната Пинкертона так и осталась на трубе. Не хватало силы воли лезть обратно. Пока он собирался с духом, порыв ветра, к счастью, сдул Пинкертона, который, покувыркавшись в небесной синеве минут пять, как стреляный голубь, рухнул под ноги.

Несколько позже, в двадцатых годах, он боролся с мракобесием, с нехваткой умственного образования и с помрачениями рассудка, шедшими от непонимания природных явлений.

В газете «Власть труда» Вольский-Пунктуаль растолковывал, что все недуги, вроде потряси-хи, колотья, родимца, ушиби-хи, чёрной немочи и тоски наносной, не от сглаза и нечистой силы, чего вообще не бывает на белом свете, а от микробов и бактерий. И никакие знахари, ведуны, ворожеи и колдуны никакими сбрызгиваниями,

заговорами, обматыванием горящей верёвкой, купанием в воде из девяти рек и маханием кнутом не помогут. Вылечить зуб прикосновением пальца невозможно, писал он, если не смазать этот палец особой наркотической мазью. И серебряный неразменный рубль, на который якобы можно всю жизнь питаться, не что иное, как сказки лодырей и пройдох.

Как-то в газету пришло письмо: вот, мол, вы всё пописываете статейки, что ничего такого нет, а у нас на Вятском кладбище в глухую полночь бродят привидения-икотницы. Кто увидит, становится одержим икотой до тех пор, пока не полижет горячей соли с золой, прихлёбывая кобыльим молоком. И дюжина неразборчивых подписей пострадавших.

Надо было развеять привидений. Объяснялись они, скорее всего, всё теми же газами, могильными и болотными, мерцавшими в темноте. А икота, понятно, от глупого испуга.

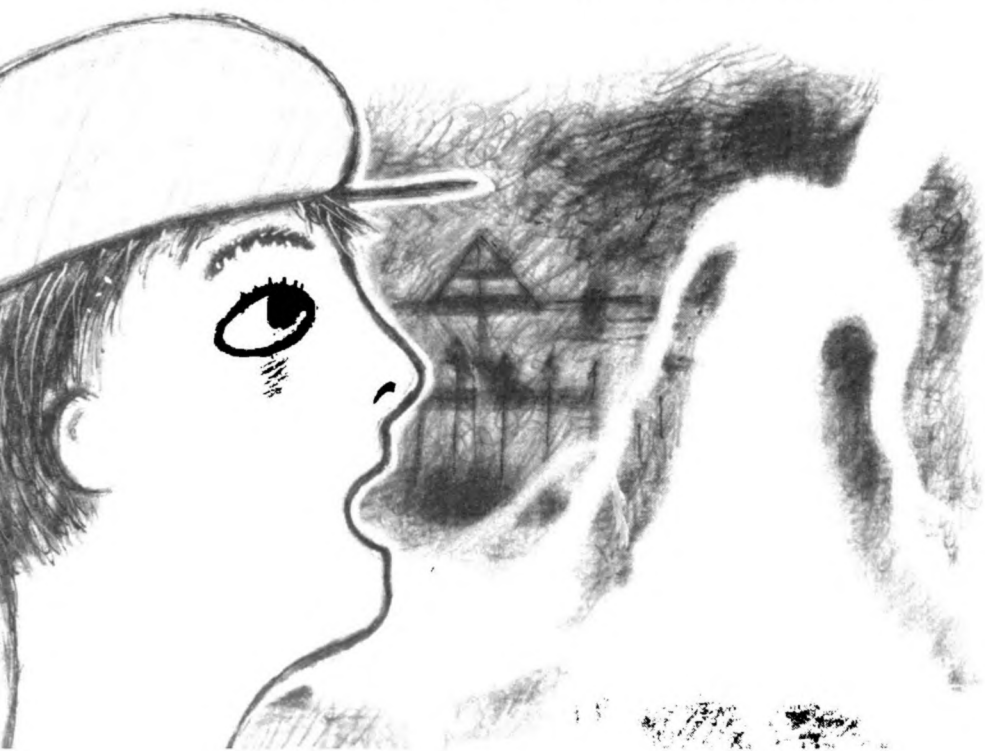
В тот же вечер, запасясь спичками и наганом на всякий случай, он отправился на Вятское кладбище. Полночь наступила тихая, безлунная, с мелким дождём и звонкими комарами. Комарливая ночь. «Попы поют над мёртвыми, — вспомнил поговорку, — комары над живыми».

Он твёрдо шагал по утоптаным дорожкам, раздумывая, какого лешего понесло авторов письма на кладбище, чего тут делать впотьмах живому здравомыслящему человеку. Хотел уже идти домой, чтобы написать фельетон о ложной икоте и бредовых грёзах, — в общем, о пережитках старого мира, как завидел перед собой именно что пережиток — тусклую крапчатую

персону, не плотную и не газообразную, а вроде телячьего студня, от которого веяло холодом.

Он замер, затаив по-охотничьи дыхание, а персона повлеклась вбок, через оградки и кресты. Хотел крикнуть — стой! стрелять буду! — но горло стеснила внезапная икота, такая частая да надрывная, как припадок. Еле-еле смог выговорить: икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Не помогло. Прочитал кое-как три раза подряд Богородицу — и это напрасно.

Возвращаясь домой, перебудил пять кварталов. Свора бродячих собак не отставала, преследуя, как дикого кабана. К вечеру следующего дня, вконец измученный, красный от икоты и стыда, обливаясь слезами, он лизал в укромном уголке горячую соль с золой и запивал ко-



былым молоком. Икота оборвалась, как не было, однако осталась тоска, давившая, будто камень. Пару раз он доставал из тумбочки наган, прицеливаясь в голову, где никак не укладывалось это происшествие.

Он думал, куда бы написать письмо с рассказом о кладбищенском опыте — должно же иметься научное толкование. И вот 23 февраля, в день Красной Армии, ему подарили какой-то журнал, где, между прочим, была статья о комарах. Он узнал много интересных подробностей из жизни мокрецов и долгоножек, звонцов, галлиц и толкунов. Оказалось, толкуны любят роиться тихой влажной ночью, образуя разные фигуры, вроде столба или даже человека.

Вот уж свалился камень! Как легко стало! Понятно, простой комариный рой! Что же ещё? Ничего странного — комары-толкуны! Мог бы и сам догадаться. Комарливая выдалась ночь. Ну а икота — что икота?! — с каждым случается, когда неловко затаишь дыхание.

Тогда же он научился дышать правильно, и на моей памяти икнул один-единственный раз. А день рождения отмечал двадцать третьего февраля, хотя родился двадцать первого по старому стилю.

И всё же ничтожное сомнение, видно, осталось, какой-то маленький червячок. Спустя много лет он развёл в огромной бочке комаров-толкунов, надеясь окончательно удостовериться. Толкуны прекрасно роились, но участок был садовый, а не кладбищенский, поэтому, наверное, человеческая фигура у них не получалась. Зато в наш сад не лазили за яблоками, стороной об-

ходили, настолько свирепыми кровососущими урождались толкуны.

Однажды, уже после войны, по дороге на работу его обокрали в трамвае. Очень ловко вытащили кошелёк с деньгами. Конечно, он был крайне раздосадован. Не из-за денег, а потому, что именно его смогли обчистить, будто простака и раззяву. И решил поймать карманника. Для успеха операции требовалось, собственно, немного: ездить, как обычно, в трамвае на работу с новым кошельком в прежнем пиджаке, но начеку, с повышенным вниманием, чтобы сразу схватить мазурика за руку и волочить в милицию.

Прошла неделя-другая, а на кошелёк не покушались. То ли вор временно сменил маршрут, чуя своим уголовным нюхом засаду, то ли не в его принципах было обирать подряд одного и того же, или просто подозревал, что в кошельке всего-то трёшка, как оно и было на самом деле.

Словом, не заладилось, чего он терпеть не мог. И вот надел новый нарядный пиджак и шляпу, туго набил кошелёк деньгами и постарался придать лицу крайне безалаберное выражение. Похоже, удалось на славу. Настолько увлёкся и вошёл в образ простофили, что прозевал свою остановку и опоздал на работу, поскольку билет купить было уже не на что: пусто в кармане, дырка — а зайцем никогда не ездил. Первый и единственный раз запоздал. И это его так огорчило, выбило из колеи, что совершенно позабыл о воришке. Ну не вышло из него сыщика Ната Пинкертона — экие пустяки в сравнении с опозданием.

На дорогу домой пришлось занять три копейки. Трамвай размеренно покачивался, успокоительно бренчал, уютно подтренькивал — дрему навевал. Большинство пассажиров клевало носом. Он устало стоял с закрытыми глазами. А надо сказать, что веки у него были чрезвычайно тонкие, буквально просвечивали — он плохо засыпал без специальных чёрных наглазников, вроде лошадиных шор.

В трамвае уже горел тёплый жёлтый свет, и сквозь веки виднелись, сквозили тусклые крапчатые тени, подобные той, кладбищенской. Прямо перед ним, посапывая во сне, сидела, как студень, персона женского, кажется, роду. И вдруг потихоньку, бочком, надвинулась другая, ещё более тусклая, склонилась, выживая нечто из сидящей.

Распахнув глаза, он застиг венец кражи. Застукал, что называется. Ловчила-карманник нежнейше, словно устрицу, тянул портмоне из дамской сумочки.

На миг он даже залюбовался, поскольку ценит всякое мастерство, но тут же схватил вора за шиворот, о чём давно мечтал, и приподнял, будто нашкодившего кота, над деревянным полом.

Тот, сперва огорошенный, не разумея, как запорол верное дело, вяло обвис. Однако быстро опомнился, выронил портмоне и начал корчиться, скулить, пускать обильную слюну, прикидываясь юродивым, даже прорицал невнятно о скором конце света.

Не заурядный попался воришка, а редкого чарующего таланта. Пленил весь трамвай, включая вагоновожатую. Все приняли его сторону, не же-

лая никаких объяснений, да так яростно навалились, что волей-неволей пришлось отпустить.

Более того, заставили предъявлять документы. В сердцах вышел он из сумасшедшего трамвая, не доехав пару остановок. На другой же день сменил маршрут. Хоть и дольше до службы, на двенадцать с четвертью минут, а глаза бы не видели того трамвая.

Он работал начальником отдела технического контроля в «почтовом ящике». И в раннем детстве это глупо веселило меня, потому что у нас на заборе висел сколоченный им же деревянный почтовый ящик, в котором сроду не было ни газет, ни писем, а проживал одинокий старый дядя в красной шапочке. Почему-то я живо представлял, как он строго сидит весь день в таком же точно ящике, в красной шапочке и чёрных нарукавниках.

Впрочем, ему очень шло — проверять качество и надёжность. Казалось, всех помаленьку испытывает. И меня, конечно, в том числе. Когда на даче разобрали старый сарай и возвысилась чёрная и неприступная дощатая гора со множеством кривых ржавых гвоздей, он подошёл с гвоздодёром, тяжёлым, как лом, и предложил коротко:

— Выдирай, распрямляй, складируй — пять копеек за гвоздь.

Это был щедрый воспитательный жест. Гвоздей бы хватило, пожалуй, на новый велосипед. Но я выдрал пару штук на мороженое, попросил расчёта и убежал играть в футбол. Думаю, с тех пор он сильно охладел ко мне.

А потом, сухой и мягкой осенью, когда поре-

дела листва, выказался мешок с бутылками, припрятанный в кустах бузины у калитки. Он позвал меня, будто сыскал подберёзовик.

Мешок был тяжеленный, распёртый бутылочными горлышками и днищами. Отталкивающей внешности. Примерно моего роста. Едва приподнять. Ни за какие бы деньги не потащил через ручей и колхозное поле, мимо профилактория и кооперативного магазина до приёмного пункта стеклотары, где большую часть года проводили учёт.

— Правильно! Вот и схоронил до поры до времени, пока сил накопишь,— сказал он, чутко наблюдая за выражением моего лица, уже сразу и навсегда решив, чьих рук дело.— Чего отпираться? Хотел украдкой сдать бутылки, разжиться тишком. Да ты сознайся — особенно худого тут нет. Просто скажи правду.

Он твёрдо убедился в моём вранье, в бессмысленном тупоголовом запирательстве. Не знал я, какие найти слова, чтобы поколебать его крепость. Не было, похоже, таких слов. Тогда я предложил испытание на детекторе лжи.

— Полиграф?! — невесело усмехнулся он.— Его-то обманешь, а меня — дудки.— Взвалил мешок на плечо и отнёс к дому.

Долго лежал этот мешок с бутылками на виду, у крыльца, под дождём и снегом, пока я сил набирался.

Серым, рогожным каким-то деньком отвёз на тележке к приёмному пункту, а того и в помине уже нет — снесли, что ли. Оставил мешок в канаве.

А на обратном пути будто забрезжило, прояснело. Вижу, как собираю бутылки, укладываю

в мешок, волоку, приминая траву, — пух одуванчиков летит следом — прячу в кустах да и забываю напрочь, точно отрезало.

Он-то всё знал, всё видел, недрёманное око, и только хотел, чтобы я сам признался.

Так ли это было, но верно то, что махнул он на меня рукой. А уж после яичницы с картошкой вообще крест поставил.

Он не был большим кулинаром, хоть и мог приготовить что угодно — первое, второе, третье. Лучше прочего удавалась яичница с картошкой и картофель жареный с яйцами. Разница между ними была тонкая. Он всегда приглядывал за едоком, различает ли тот, нравится ли. То есть не понравиться не могло. Вопрос — очень или очень-очень?

— Пальчики оближешь? — спрашивал он. И радовался искренне, если облизывали.

Помню, спешил я на одно из первых моих свиданий, когда он поставил на стол сковороду, только с плиты, полную картошки и жареных яиц. В мыслях я был далеко от этой сковороды. Размышлял, в частности, как одеться и не попросить ли у него пыжиковую шапку, которая меня украшала.

Ел быстро, не слишком прожёвывая, не проникая в смысл продукта, чем уже нарушал заповеди. Впрочем, он смотрел спокойно и доброжелательно, как я поглощаю его стряпню. Казалось, он доволен. Ещё пальчики оближу, и смело попрошу шапку.

— Спасибо! — сказал я невнятно, проглотив последнюю картошку.

И тут заметил, что взгляд его тяжёл, тёмн



и чугуnen, как пустая сковорода.

— Пожалуйста! — ответил он жёстко. — Я приготовил на двоих. Но ты, вижу, только о своём животе думаешь.

Я обомлел, как яйцо всмятку. Внезапно, вдруг оказался кругом, вдоль и поперёк, виноватым. Без малейших оправданий и смягчающих обстоятельств. И шапку уже не попросишь, да и само свидание отодвинулось куда-то на задворки, никчёмное, как и я сам.

Никогда до того не приходило мне в голову покончить с собой, а тут пришло, настолько мерзким выглядело пожирание целой сковороды. Конечно, пришло на минутку. Так, заглянуло. Но попадись мне под руку наган, мог бы сгоряча застрелиться.

Было так стыдно. И главное — непоправимо. Разве что забыть. Однако, вот досадно, по сию

пору не запомнил.

Он умер на кладбище. Когда хоронили однополчанина.

— Последние уходят, — сказал он.

Задохнулся, захрипел, икнул и посинел.

Наверное, перед ним промелькнули и тот трамвай с воришкой-пророком, и привидение из комаров, и ВДНХ, и ржавые гвозди, и Нат Пинкертон, и многое-многое другое, о чём я и догадаться не могу, — пока он стремительно падал в пропасть чёрной трубы.

Вмиг распустился ещё один Божий узел!

После него осталась папка с документами. Справки, аттестаты, свидетельства, выписки, удостоверения. О сдаче норм ворошиловского стрелка, об установке первых радиоточек на селе, о пешем походе в уссурийскую тайгу, об окончании бронетанковой академии, о ранении на Сандомирском плацдарме при форсировании Вислы, о получении орденов, медалей и пенсии.

И среди всего этого два анализа за 1921 год — мочи и крови. Всё в норме было у моего дедушки. Надеюсь, и сейчас тоже. Царствие ему и покой небесные.

Вечная МЕРЗЛОТА



«Щ» ПЕРВОЕ СЛОВО

и» — таково было первое слово, сказанное мной в этой жизни.

Может, и прежде чего-то лепетал, но именно «щи» выловила из слабенького речевого родника нянька.

— Голубь мой! — обрадовалась. — Сейчас разогрею!

С тех-то пор эти «щи» надолго прилипли ко мне. В раннем детстве, не считая закармливания щами, первое слово не огорчало. Напротив, папа, бывало, хвастал перед гостями:

— Только истинный россиянин может отмочить такое! Щами, как говорится, мир стоит! Знавал я человека, брякнувшего в колыбели «кака». Стыдно рассказать о его жизни.

В ту медлительную пору длинных дней я, конечно, не задумывался о судьбе. Так, туманно представлял себя всенародным героем, где-то в районе Минина с Пожарским.

Однажды к нам приехала двоюродная тётя, с кошачьим именем Муся и повадками дворового кота.

— Племяш! — щёлкнула пребольно по носу. — Кем думаешь быть?

«Кошкодавом!» — тут же решил я, но ответил деликатно:

— Общим любимцем.

— Прекрасно! — как-то излишне восторгнулась тётя Муся. — А скажи на милость, каково было твоё первое слово?

Скрывать тут было нечего:

— Щи!

С этой-то минуты и начались мои отроческие страдания.

Тётя Муся фыркнула, и хвост — не припомню точно, имелся ли он тогда, — мелко заколотился по полу.

— Гениально! Ши! — она прыгнула на диван и долго «щикала» на разные лады, превратив моё родное в сыскное — «ищи». — Должна предупредить, миленький, всеобщим любимцем ты станешь на кухне, в поварском колпаке. На роду тебе написано — готовить пельмени, пирожки да пампушки. И, бесспорно, ши!

И так горели её зелёные глаза, что сомнений в пророчестве не оставалось. Впервые, ещё слабой тенью, застила мои глаза предопределённость. Едва не теряя сознание, представил я бесконечные ряды пельменей, пирожков и неких пампушек.

— Ну-ну, — сказала Муся. — Не печалься — будешь коком на корабле. Или кухонным генералом — шеф-поваром.

— И ничего-ничего не изменить? — спросил я, обмирая.

Тётя вздохнула, развела руками:

— Что на роду написано... — и зашептала, примурлыкивая: — Представь, первым словом в моей жизни было «мяу». Более того, вторым — «му»! Вот и стала ветеринаром с кошачьим уклоном. Всё решает первое слово. Против судьбы, драгоценный, не попрёшь!

Я был потрясён неотвратимостью, той единственной дорогой, с которой никуда, никуда, никуда. Не то угнетало, что суждено стать поваром, а именно — как ни крути! Именно — хочешь не хочешь...

«Ищи» — возникло подсказанное тётей Му-



сей. А чего, спрашивается, искать? Ши — они и есть ши!

У других-то первые слова были куда достойней — «диван», «баба», «пика». Особенно отличилась девочка из соседнего подъезда. Едва начав ворочать языком, произнесла ясно и отчётливо — «генерал».

Насколько же унизительны мои «щи»! Невольно я начал разговаривать шёпотом, сторониться друзей, ходить по стеночке. И думал неотлучно, как же изменить то, что на роду написано. Возможно ли?

— Да что ты убиваешься?! — недоумевал папа. — Прелестное слово «щи»! К тому же должен ты знать, что нянька наша с давних пор глуховата. Ещё и в моём первом слове сомневалась — то ли «руль», то ли «рубль». А легко ли, думаешь, жить без чётких ориентиров?

Я бросился к няне:

— Может, ты не дослушала? Может, это не «щи», а «шит»? Или, на худой конец — «шимпанзе»?

— Бог с тобой, голубь мой, какие худые концы? — раздосадовалась она. — Как вошла в спальню, так и услышала — «щи»! Послушала, помню, не прибавишь ли чего. Да так и заснул, голубь, со щами на устах.

Расплескалась последняя надежда. Впору рыдать о пропащей жизни. Я представлял, как по первому слову принимают в институт, на работу. Так сразу и спрашивают: «А какое, простите, слово было у вас первым?» Кто же захочет иметь дело с человеком, который не подумавши брякнул «щи»?

Всё зависит от первого слова. Было оно в самом начале и сотворило — Бог знает чего. И мытаря, и пекаря, и концы и собственно начала.

Проснувшись одним прекрасным утром, я и не понял-то сразу, отчего оно прекрасно, — полёживал, вспоминал сновидения. И вдруг сообразил — нянька-то услышала лишь самый худосочный кончик! Когда она вошла, я как раз завершал речь! Моё первое слово было полновесным. Из ряда слогов и шеренги букв. Впервые обращаясь к этой сложной жизни, я хотел, видно, сказать нечто важное о прошлой. Да заснул, ослабев от усилий.

А начинал бодро — то-ва-ри-щи!

Нет сомнений!

— Товари — щи! — завопил я тем прекрасным солнечным тихим утром, будто рождаясь во второй раз.

Сбежались сонные перепуганные родители, нянька.

— Не «щи»! — орал я. — Товарищи!

Больше, увы, сказать было нечего — ни о прошлой жизни, ни об этой, обновлённой.

— Дорогие товарищи, — поник я. — Что же у меня на роду написано?

нашем городке кое-чего, конечно, не хватало.

Ну, например, уличных часов. То есть они вообще отсутствовали.

И с памятниками было негусто. Единственный стоял с протянутой рукой посреди центральной площади, и время определяли по тени от его руки. Утром она ложилась точно на порог «Гастронома», и двери сразу отворялись. А к вечеру, когда указывала на городскую управу, рабочий день заканчивался. Так и жили у нас не по часам, а по руке. Хорошо, что солнце светило большую часть года, не считая месячного сезона дождей, в пору которого наступало сущее безвременье.

Впрочем, никто не жаловался, поскольку много чего другого было в избытке. Начиная с вечной мерзлоты, лежавшей под нашим городком уже миллионы лет трёхсотметровым слоем, — настолько тут всё окоченело в период великого оледенения. За лето земля немного оттаивала. Копаешь, копаешь червей, увлечёшься, а нос уже покраснел и руки застыли — зимняя стужа из ямы.

Вечная мерзлота двигалась, кочевала. Иногда выпрет вдруг ни с того ни с сего ледяным бугром, обязательно под каким-нибудь домом, спихивая его, как кепку, набекрень. Однако никто не покидал такие дома. Никуда не денешься — живи набекрень!

По каким-то причинам именно из этих домов происходили нарушители законов, и участковый Фёдор Чур вписывал всех жильцов как заранее подозреваемых в специальную тетрадь с отпечатками пальцев и ступней.

Когда человек живёт на вечной мерзлоте, стоит ли задумываться о сиюминутном, о времени вообще, — навряд ли. Но всё же некоторые размышляли и рассуждали.

— Ничего вечного в этом мире нет! — говорил зоолог Волкодав. — Температура повышается, подтекают уже полюса, и здешняя мерзлота непременно, рано или поздно, отступит, растает.

— Вряд ли на нашем веку, — вздыхала тётя Муся.

— И прекрасно, что не на нашем! — утешал зоолог. — Поскольку возникнут сплошные болота!

В городке заспорили, что лучше — мерзлота или болота. Даже появились две партии — мерзлотников и болотников. Консерваторы и анархисты. Первую создал городской голова Александр Радищев, а вторую — лодочник-моторист Стёпка Разин.

Надо сказать, что наш городок на три четверти состоит из фамилий славных, звучных, исторически знаменитых. Как и у вечной мерзлоты, тут свои стародавние обычаи. Когда в здешние места пришли русские, то первым делом окрестили местные племена, и нарекли, не долго думая, теми православными именами, что были, как говорится, на слуху.

Так, в нашем тихом городке проживали шофёр Михайло Ломоносов и бухгалтер Гаврила Державин. Александр Суворов работал в пожарном депо, а Денис Фонвизин — директором «Гастронома». Иван Крылов — инвалид в коляске. Зато Николай Карамзин, библиотекарь, действительно писал историю городка, основанного, как

выяснилось, ещё Тамерланом. Да что долго говорить! Легче открыть учебник российской истории за седьмой класс — там все наши земляки.

Особенно часты фамилии известных атаманов-разбойников. Любопытно, что они проживали, как правило, в тех скособоченных вечной мерзлотой домах. Множество Разиных, дюжины три Пугачёвых, младшенький Емелька учился в нашей школе, некий Павлюк, заслуживший всего строчку в учебнике, и несколько Болотниковых, один из которых Иван Исаич, полный тёзка того, что едва не пожёг Москву, а потом был ослеплён и утоплен.

Странно было жить среди таких фамилий. Будто не только под нами вечная мерзлота, но и само время застыло, как зимний воздух, искрится недвижно, да вдруг колючим и звонким ледяным порывом устремляется неведомо куда — то ли по кругу, то ли по спирали, точно смерч.

Всё путалось, перемешивалось, и казалось порой, что сам я как следует ещё не родился, гляжу со стороны, посторонний, находясь в другом времени, тёплом, уютном и шелковистом, как кокон бабочки. Жёсткий ветер свистел где-то высоко над головой. А моё время в ту пору было медовым — сладким и тягучим, вечным. Медленно-медленно капало оно, будто сосновая смола жарким июльским днём.

Что же касается городского головы, то он подлинно был прямым потомком Александра Николаевича Радищева, непримиримого царененавистника, сосланного Екатериной Великой в Сибирь, на вечную мерзлоту.

— Звери алчные! — орал наш Радищев, когда в управу приходили просители. — Пиявицы ненасытные!

Многие думали, что именно он написал «Путешествие из Петербурга в Москву», и просили автограф. Радищев не отказывал, но замечал, что с тех времён взгляды его сильно изменились, — особенно на устройство государства, барщину, оброк и повинность. Он был, так сказать, поборником, и прямо говорил, что столичные власти дремлют в неге, когда пора уже вводить крепостное право. «Хоть какое-то право должно быть! — восклицал на совещаниях в управе. — Например, у нас в городишке ни заводов, ни фабрик — воздух чистейший! Так почему бы не обложить налогом, хотя бы для приезжих?!»

Триста метров льда под ногами, наверное, влияют на характер. И вечная мерзлота проникала через подошвы, замораживала иных от пяток до тмени, превращая в эдакие непоколебимые айсберги. Сам наш городской голова, бывало, оттаивал сантиметра на три. Обычно перед банкетами, когда, никому не доверяя, любовно протирали бокалы и рюмки. «Успокаивает, — говорил Радищев, поглядывая сквозь хрустальное стекло на солнце. — Зрю сквозь целое столетие!»

Относительно воздуха он, конечно, шутил в память о далёком предке, однако о вечной мерзлоте задумывался всерьёз — очень хотелось использовать.

Как-то погожим днём Радищев прогуливался вдоль реки, прикидывая, перекинуть ли мост, воздвигнуть ли плотину, когда увидел огромный экскаватор, застывший, как монумент, над об-



рывом. Его стрела с ковшом, будто протянутая рука, поднималась высоко, доставая тенью другой берег. Казалось, прорыл речное русло и занемог, измождённый. Спущена ржавая гусеница. Семь облупленных звёзд на боку, какие рисуют на танках и самолётах, по числу уничтоженных противников. Вероятно, он выкопал семь искусственных морей. Так или иначе, а экскаватор напоминал о чём-то славном и великом, что было когда-то и ещё, возможно, может быть. Глядя на него, вдыхая механический запах, Радищев до того оттаял, что всё бы отдал, найдись в ту минуту проситель.

«Экс-каватор! — задумчиво произнёс Радищев, знавший начала других языков. — Бывший каватор, то есть копальщик. Трудился всю жизнь — рыл, копал. А нынче экс, и никому не нужен. Сик транзит gloria мунди, — вздохнула на латыни городская голова, мрачно озарённая дурными предчувствиями. — Да пропади пропадом весь этот мунди! — восторженно воскликнул он. — Но gloriю ещё потискаем! Слава от нас не уйдёт».

Тем же днём у Радищева возникли всякие виды на экскаватор. Неплохо, полагал он, открыть в кабине кафе-мороженое и бар, а на стреле укрепить канат для прыгунов-безумцев. Заманчиво продать монголам, выдав за боевую машину. Недурно обрядить его мамонтом, чтобы подавал трубный голос, когда редкие баржи проходят по реке. Соблазнительно сдавать в аренду приезжим археологам, если не для рытья, то под жильё. Или же, отремонтировав, выкопать поблизости море Радищева с проливом в океан — хотя не первое будет, а только лишь восьмое...

В общем, этот старый экскаватор в конце-то концов и поселил в городской голове глубокие размышления о копании и рытье вообще, но с уклоном к славе, которые постепенно и привели к смелому до безумия проекту: сотворить метро в нашем городке. Радишев живо представлял, как в ледяных стенах туннелей, будто в замороженном аквариуме, виднеются нетленные останки мамонтов и питекантропов, саблезубых тигров и прамедведей, величиной с бульдозер. А если копнуть поглубже — почему бы и нет?! — трёхгорбые рогатые верблюды, птеродактили и динозавры...

Идеи захлестнули до одышки: метро по всем просторам мерзлоты, музеев, какого не бывало, и обширнейший холодильник, куда поместятся запасы всей страны! Да, вечная мерзлота сохранит его имя — и, разумеется, не только как потомка вздорного самоубийцы.

Безусловно, с метро предстояло много волынок, и Радишев решил для начала открыть мемориал в честь будущих мерзлотопроходцев. За основу приняли всё тот же экскаватор. Правда, не удалось выяснить, откуда он и с каких пор здесь, на берегу реки. Даже Николай Карамзин ничего не обнаружил в городской летописи.

Тем временем создали отдел пьедесталов, где обсуждали, на какую высоту поднять машину. Предлагали от трёх до пятидесяти метров. Радишев остановился на среднеарифметических двадцати шести с половиной. Вокруг планировалась мраморная колоннада и ступени к позолоченному ковшу, куда горожане волей-неволей должны будут опускать добровольные пожерт-

вования — на строительство метро, а в будущем на улучшение климата и штопку щели от Тунгусского метеорита.

Экскаватор успели подкрасить и смазать кое-где машинным маслом. На этом и закончилось правление Радищева. Выплыло вдруг, что много лет назад семь человек замёрзли насмерть, работая на экскаваторе, — то ли море копали, то ли золото рыли, то ли братские могилы. Настолько окоченели, что едва руки удалось от рычагов отодрать, еле-еле вытащили из кабины. Впрочем, может, и с мемориалом и с метро всё бы обошлось — могли бы даже поощрить. Но тут приключилось небывалое наводнение. Вместо законного месяца дождь зарядил на три, напрудив целое море с проливом в океан, которое так и называли, пока вода не спала, — море Радищева. Этого великого потопа ему не простили. Мол, недоглядел за природой. И сняли буйную его, беспокойную голову с нашего городка. Скорый и неправый, как всегда, судебный совет определил у Радищева утомление рассудка и порешил сослать на минеральные кавказские воды.

Потом дошли слухи, будто бы, не стерпев унижений, Радищев то ли бросился вниз головой с горы Машук, то ли утопился в целебных грязях, оставив короткую записку: «Потомство за меня отомстит!» Хотя какие у него потомки? Последним был поборник наш Радищев, и того не сберегли — пострадал, как многие, от власти.

В его смерть наш городок не поверил. Такие не гибнут! К тому же тело так и не отыскивали — ни под горой Машук, ни в целебных грязях. Наверняка, говорили наши, работает в столи-

це — каким-нибудь очень тайным советником. «А в начале своего пути простым экскаваторщиком моря копал. Взглядом камни дробил, а голосом — фузеры! Правителям за обиженный народ плахою грозил!» — так вспоминали о бывшем городском голове.

Семизвёздный экскаватор так и остался у обрыва над рекой, что было для многих неожиданной удачей. Наши ребята в нём души не чаяли. Летом самые отважные прыгали из ковша или со стрелы «солдатиком», уходя под воду до илистого дна, где увязали по колено, едва хватало воздуха выбраться и всплыть.



По тени от стрелы, как по руке памятника, тоже определяли время. К трём часам она достигала середины реки. Мы плавали туда-сюда по этой ажурной, будто полоса тюля, тени, и в глазах начинало рябить, так что выходили из воды, пошатываясь, примерно в шесть тридцать, когда тень криво заползала на другой берег.

Ну а зимой, особенно в сумерки, экскаватор можно было представить какой угодно машиной — от подлодки до космической станции. Открывалась и гулко захлопывалась тяжёлая дверь. Сквозь пустые округлые окна виднелась замёрзшая река, далеко-далеко внизу, будто пролетаешь над ней в самолёте. Но что особенно важно, из металлического пола кабины торчали две огромные, как след снежного человека, педали, и подымалась целая камышовая поросль разновеликих рычагов, которые двигались, покряхтывая, во все четыре стороны. О, какие рычаги! Высоченные и карликовые, толстые, но стройные, плавно искривлённые, увенчанные круглыми набалдашниками.

Как не полюбить такие рычаги?! За них хотелось держаться с раннего утра до позднего вечера, воображая себя лётчиком-танкистом-космонавтом-гонщиком-бульдозеристом или даже экскаваторщиком, одним из тех семи, что замёрзли, так и не выпустив их из рук, эти дивные рычаги.

Экскаватор притягивал меня. Повсюду я слышал его промёрзший, ржавеющий голос, зовущий к рычагам. Это было вроде наваждения. По сбивчивым рассказам родителей я знал, что мой далёкий прадедушка сгинул когда-то — может, ещё во времена первого Радищева — в вечной мерзлоте. Не был ли он в той семёрке, копавшей неизвестно что?

Я приходил к экскаватору один, без приятелей. Когда никто не мешает, куда как глубже окунаешься в другой мир, увязаешь в нём по колени, а то и по шею, как в речном иле. Всё проступает острее, ясней. И зимняя ночь запросто становится июльским полднем.

Переговорив с диспетчером, я заходил на посадку и уже видел огни огромного города, вынырнувшего, как всегда, внезапно, из низкой плотной облачности. Как вдруг хором вспыхнули красные лампочки на приборной доске, а ровный гул моторов резко оборвался, и замерли разом все четыре пропеллера. Я растерялся, не зная, что делать. Прыгать с парашютом подло вато, поскольку сзади сотня пассажиров. Можно, конечно, заменить пропеллеры турбинами или самолёт, к примеру, стратостатом, но тогда ломается, идёт насмарку вся история, созданная этим вечером, — должна же быть хоть какая-то достоверность.

Времени до крушения оставалось минут пять, или лучше — пятнадцать. Я быстро выбрался через окно и пополз по крылу, надеясь запустить моторы. Ну, подышу на них, отопрею, смахну пыль и соединю какие-нибудь проводки. Крыло изрядно обледело, варежки прилипали к нему, а ноги скользили. Чем дальше я полз, тем сильнее налетал ветер, норовя стянуть и уволочь.

Добравшись-таки до главного двигателя, я глянул вниз и неожиданно увидел весь наш городок: водокачку, пожарную вышку, памятник, приветливо махавший рукой, баню, бочку водовоза и самого Колодезникова, снежного человека над вечной мерзлотой, школу и мой дом, где светились два окна. И сразу ощутил, как глубоко продрог на этой железной стреле экскаватора, сидя прямо над пастью зубастого ковша. Торопливо начал спускаться. Ноги скользнули, разъехавшись, руки, взметнувшись, промахнулись, грубо дёрнуло сзади, и я повис, подобно кокону, меж небом и землёй, подцепленный за хлястик ковшовым зубом. Я угодил в такое замирание, будто куколка, ожидающая неведомого для неё превращения.

Ветер пронизывал. И городок наш вроде отдалялся, погружаясь в тёмную пропасть. Зато надвигались звёзды. Казалось, я ближе к ним, к космической мерзлоте, нежели к земной. Уже весь мир лежал перед глазами — от Адама в райском саду до наших студёных будней.

«В такую пору птицы на лету дубеют», — вспомнил чьё-то наблюдение. Семь человек окостенело в этом экскаваторе. Может, прадедушка приглашает меня восьмым? И нарисуют новую

звезду на дверце. Но вспомнят ли добрым словом, как городского голову Радищева? Навряд ли! Вот, скажут, глупо дуба дал парнишка, глупее некуда, совсем по-дурачки. И я заворочался в пальто, чтобы разогреться, пытаюсь думать о прелестях райского сада. Однако затрещало — то ли мороз окреп, то ли хлястик ослабел, то ли сдавались одна за другой пуговицы. Вот-вот выпорхну из кокона, будто зимующая бабочка, ночной снежный мотылёк. Возможно, полечу?! Хотя едва ли, поскольку есть ещё одна ступенька, которой не миновать: обомлевшая куколка. Брякнусь круто вниз, слабо извиваясь, — вдребезги об лёд речной. Да так всё же приличней, достойней!

Стащив варежки, я тщился расстегнуться — последний раз в этой жизни. Но пуговицы упирались, выскальзывали из пальцев, не желая пролезать в петли. Отчаявшись, я начал биться, колотиться, трепыхаться и вертеться в своём коконе, как чёртова куколка, обрызганная ядохимикатом. Да так согрелся, разгорячился и взревел даже яростно, будто мотор, что смазанный по указанию покойного Радищева экскаватор вдруг ожил — тяжело охнул и заскрежетал, скрипнул всеми узлами, болтами, гайками, колёсиками. Ковш содрогнулся, очнувшись от многих лет покоя, медленно, притормаживая, пополз вниз, как старый лифт, и замер вновь на уровне второго примерно этажа, откуда посильно было спрыгнуть.

Две пуговицы поддались, а остальные, рванув пальто на груди, я выдрал с мясом и выпал плашмя в прибрежный сугроб. В тот зимний вечер или ночь я одолел зараз несколько ступеней

созревания. Обречённый кокон на зубе ковша. Буйная, бесноватая куколка. И, наконец, бабочка, выползшая из вечной мерзлоты. Я был лёгок и окрылён, когда вскарабкался на крутой берег. Осталось полететь на свет, горящий в окнах дома, согреться у лампы и пробудиться весной.

Не сразу понял я, что моего родного времени и в помине не осталось, вытекло до капли. Совсем другое вокруг — общее, жёсткое и колючее, застывшее с угрозой. Здесь, на высоком берегу, оно сразу подхватило меня и понесло по спирали, не давая оглядеться, оборвав крылья и стряхнув нежную пыльцу, мимо многих домов, куда хотелось зайти, мимо городов, где хотелось остаться, всё быстрее, быстрее, будто смерч, возвращая на прежнее место — в вечную мерзлоту.

Домой я приполз, как жесткокрылый жука-скарабей. Папа с мамой, как всегда, были в поле — в Африке ли, в Азии ли, на каких-то островах ли...

— Мерзлота мерзлот, вечная мерзлота, — шумно дышала тётя Муся, растирая меня жиром, напоминавшим машинное масло. — Ограбили тебя, что ли, парубок?

Утром, когда мы подошли к экскаватору, пальто на зубе не было, а ковш торчал высоко, будто орлиное гнездо, под самой стрелой.

— Могло сдунуть, — задумалась тётя. — Но могли и сдуть! Пойдём-ка к участковому заявление писать.

В старой цигейковой шубе, потёртой, с короткими рукавами, я ненавидел и презирал всё что мог: наш городок с лжеисторическими фамилиями, себя с подмерзавшим задом, тётю Мусю

в хромовых сапогах, участкового Чура. До чего же хотелось плюнуть, поднимаясь на милицкий порог, чтобы кто-нибудь поскользнулся. Но я удержался и вошёл вслед за тётей — бесповоротно в то общее время, которое свистело и звенело над вечной мерзлотой.

Хотя, конечно, она не вечная. Подтаает, как говорят анархисты. Да и болота в конце концов высохнут. Явится вид вроде райского сада. И что-то совсем другое начнётся, чего и представить сейчас невозможно. Новое, шёлковое и медовое, как расплавленный июльский день, как липовый цвет, гудящий пчёлами, вечное, — то ли время, то ли нет.

А на высоком берегу, будто монумент, экскаватор, и тень от его длинной стрелы, по которой легко определить время, к вечеру, как мост, перекидывается через реку. И можно плыть по ней бесконечно, от берега к берегу, туда-сюда, покуда хватит сил и желания. Теперь он вечен, этот экскаватор, бывший копальщик, с семью потёртыми звёздами на боку.



Т
БЕЗ КРЫШИ

Тётя Муся знала толк в снах. Каждый оборачивался эдаким пеньком, а то и курганом, на который она усаживалась, осматривалась, решала, куда дальше по жизни. И пути выбирала верные — так ей казалось. Поэтому с готовностью, как шустрый компас, указывала дорогу желающим, которых, правда, было немного — моя мама да я. И не то чтобы желающие, а скорее подневольные.

Каждое утро тётя допрашивала — что и как снилось. Порою и вспомнить-то было нечего. Так, бледные тени, серенький туман. Но тётя настаивала, и приходилось напрягаться, возвращать сны, как выветрившиеся, полуразрушенные стихи.

— Бродя бы сижу на табуретке, а вокруг улитки ползают...

— Э, милый, сон в руку! Отлыниваешь от учения и труда.

Как правило, тётя уличала меня — в лености и праздности, в необузданных страстях и обманах. Сны выдавали мои скрытые пороки и неблагоприятные стремления. Пытаясь выглядеть достойней, я присочинял, бывало.

— Видел тебя, тётя, в царском платье, на рыжем коне!

— Батюшки! — всплёскивала она руками, будто прихлопывала комара. — Это к запою...

Ну, в таких случаях вмешивалась, конечно, мама:

— Муся, перестань чепуху молоты! Даже не смешно.

— Нет пророка, — вздыхала тётя и удалялась в свою комнату, где в запертом шкафу, обёрнутая

мягкой чёрной тканью, покоилась нахохленно-вспухшая, как курица на пыльной просёлочной дороге, книга снов. Из неё, казалось, и вытекали мои бедные порочные сновидения.

Вообще-то сон и явь в ту пору странно переплетались, и трудно нынче разобраться, что было на самом деле. Может, тётя Муся и вправду скакала на рыжем коне, а книга в шкафу приснилась? Всё тени — уплывают, набегают...

Однажды мы с тётей повстречали на улице боксёра Петра Гамбоева.

— Странная штука, — сказал он между прочим, поколачивая левым кулаком правый. — Генерал приснился.

— Уверены?! — оживилась тётя. — Не майор?

— Да настоящий пузатый генерал. С бородой и усами! — как-то приобиделся Гамбоев.

Тётя Муся насупилась, как врач, определивший внезапно страшный недуг.

— Пётр, послушайте меня — это серьёзно! Немедленно берите больничный!

— Вот те на! — Гамбоев так ударил правой, что левую отбросило за спину. — У меня же бой за кубок междуручья — левши дерутся с правшами.

— Именно! — воскликнула тётя. — Толстый генерал — к большим неприятностям. Усатый — к опасности. Бородатый — к позору и забвению.

Гамбоев только усмехнулся. Он уходил по деревянным мосткам пританцовывая, чередуя нырки с уклонами. Под ним прогибались и пели доски, как рельсы под тяжёлым товарняком. Тётя Муся печально глядела вслед, будто опоздавшая на поезд.



Из соседнего дома выскочил, возбуждённо гримасничая, зоолог Волкодав.

— Какая-то дребедень! — выпалил, подбегая. — Кошмар! Сел на дикобраза!

Тётя очнулась и принялась уточнять симптомы.

— Может, на ёжика? Смысл, знаете ли, разный.

— Какой к лешему ёжик! — сокрушался Волкодав. — Взгромоздился сослепу — думал, пуфик! А он зашумел, как мешок с костями, хрюкнул и — пронзил!

— Ах, вам надо быть осторожней, — пригрозила тётя. — Возможны крупные ссоры и рукоприкладство. Всё зависит от длины игл...

— Сами поглядите, — покорно развернулся Волкодав.

Штаны его напоминали плотно утыканную швейную подушечку.

— Не верю, — прошептала тётя, трогая толстую беловатую иглу.

Волкодав охнул и побежал неведомо куда — иглы дрожали, как осинки на ветру. Сон так внезапно обернулся явью, что тётя Муся совершенно растерялась. Дома, присев у окна, безответно вопрошала:

— Дикобраз?! Откуда? В наших-то широтах?

— Время такое — всё перепутано, — утешала мама. — Неизвестно, чего ждать.

На другой день, ближе к обеду, пришёл участковый Фёдор Чур, из якутов. Остановился на пороге, оглядывая комнату.

— Шаманите?

— В каком смысле? — не поняла тётя.

— Да как же! — прищурился участковый, отчего глазки вовсе пропали и лицо стало радушным, как головка пошехонского сыра. — Понятно, что в смысле снов!

— Это чистая наука, — возразила тётя. — Во сне не дремлет подсознание. Оно-то и говорит о будущем. А я толкую.

Фёдор Чур открыл полевую набедренную сумку и записал показания в блокнот. Перечитал, подумал.

— Есть факты, — вдруг вытаращил, как мог, глаза. — О сглазе. Не толкуете, а толкаете. Сбиваете людей с толку! Гамбоев Пётр побывал в тяжёлом нокауте. А зоолог Волкодав учинил драку на звероферме, где из местных ежей выращивали дикобразов. Предупреждаю раз и навсегда — шаманства тут не потерпим!

Этот визит переполошил маму:

— Достукалась? Кто тебя за язык-то тянет?!

Тётя Муся лишь рассеянно улыбалась:

— Приснится участковый — скоро замуж...

— Опомнись — это же не сон! — горячилась мама.

Но тётя не слушала, погружённая в предчувствия.

К нам в ту пору захаживал частенько ссыльный генерал Евгений Бочкин, и от него, конечно, уже ожидался решительный поступок. Вроде женитьбы.

Тем вечером за чаем генерал постучал ложечкой о стакан и, поднявшись, произнёс:

— Представьте, Мусьен, мне приснился дом без крыши...

Тётя заметно побледнела и отвернулась,

а Бочкин продолжал:

— Кирпичный особняк. В три этажа. С крылечком и балконом. Но без крыши. Смысл очевиден! Дом — это я. Вы, дорогая, — крыша, которую надобно водрузить на место, — закончил он, и стало очень тихо.

Наконец тётя с неожиданной досадой и злостью сказала:

— Да что вы понимаете в снах?! Это вам не «мёртвая петля», не «штопор» и не «бочка»! Тоже мне — особняк!

Решительный Евгений Бочкин замер на миг, как в подбитом самолёте перед катапультированием, и нажал красную кнопку:

— Вы много понимаете! Генерал — слышали?! — к неприятностям! Помилуйте, что за дремучесть! Впрочем, у вас — дрема. У меня — честь... имею! — щёлкнул каблуками, как застрелился, и вышел навсегда.

Всё произошло так стремительно. Воздушный бой! Смертельно-скоротечный!

— Как понимать, Муся?! — воскликнула мама.

Тётя блуждала по столу мрачными глазами, и отблёскивал в них чайник, за которым угадывалась тёмная бездна всеведения.

— До последнего верила, — прошептала она. — А ему, дураку, — дом без крыши... Значит, скоро полная отставка, да к тому же облысеет. Подлец! — взмахнула рукой, как бы ставя крест на генерале.

Да, можно было понять тётю. Но как Бочкина жалко! Не знает, бедняга, печального будущего, а здесь, за чайным столом, всё известно, всё расставлено, как сервиз, по местам. Просто страшно!

И поныне, как увижу дом без крыши,— оторопь берёт. Чудится лысый генерал в шароварах, с тяпкой, у грядки лука-сезуна.

На другой день тётя по обыкновению спрашивала о снах.

— Лежу на диване,— припомнил я.— А по небу звёзды плывут.

— Странно,— сказала тётя, особенно суровая со вчерашнего чаепития.— Не ожидала от тебя. Звёздное небо — к исполнению желаний.

Кажется, она позавидовала. Не догадывалась тётя, какое у меня скромное желание. Об одном я мечтал — чтобы никто не заглядывал в моё будущее, не морочил его, не толковал меня так да эдак.

Будущее моё темно. А может, и светло. Во всяком случае — мне неизвестно. Только бы не приснился дом без крыши. Хотя и в этом, если разобраться, ничего дурного.



В ПУХ

тот год тополя будто спятили — голову потеряли. Весь наш городок запушили. Пух сбивался плотными хлопьями, хоть валенки валяй. Как ватные старики, гнулись и горбились тополя, такими длинными тяжёлыми бородами были удручены.

Октябрь Петрович едва успевал вылавливать тополиный пух из аквариума.

— Эх-хе,— вздыхал, когда я заходил проведать.— Раньше золото добывал, а теперь что? Пух! — и с чувством, как увядшая роза ветров, дул на все четыре стороны, подымая домашнюю пургу.

Октябрь Петрович считал, что на пенсию его отправили за имя, которое устарело. Хотел было сменить — на Августа или на Февраля, да много мороки; во всех книгах Октябрем записан, так и доживай.

— Эх, молодость пташкой, старость — черепашкой,— и тоскливо глядел на тапочки, которые сильно распушились, утеплились, как пара кроликов к зиме.— Чем медленней ползёшь, тем время быстрее порхает.

В доме у него всегда прибрано. Однако на полу в пуху пешеходные дорожки. От дивана к столу. От стола к аквариуму. От аквариума к окну. И к двери — еле-еле проторённая. Редко навешают.

На дворе среди дня потемнело, собиралась гроза, когда в окно влетела птица. Плохая примета! «Не по мою ли душу?» — замер Октябрь Петрович у аквариума. Таких птичек, пожалуй, сроду не видал. В предгрозовых сумерках она была призрачно-белёсая, но рыжеглазая и бровастая. Усевшись на столе, скромно теребила ватрушку.

«Что за птаха? — приглядывался Октябрь Петрович. — Из курьих или певчих? Из ловчих или из бегунков? Белая совка? Куропаточка? А может, степной лунь?»

В окно подуло, и птица, неловко кувырнувшись, перелетела кое-как с ватрушки на соседнюю этажерку. Уместилась перед фотографией Октября Петровича, ещё молодого, у горного ручья, в шляпе с накомарником и лотком для промывания золота.

— Глупая ржанка, — решил он, подходя. — Слётыш.

Птица напоминала лёгкий пушистый цветок неизвестной породы, вроде одуванчика — пух без перьев. Птушка — не пернатка! Видно, куда ветер, туда и она. Октябрь Петрович и дыхание затаил.

Они глядели друг на друга, как давным-давно расставшиеся приятели — что-то угадывается знакомое, да никак.

— Октябре, — произнесла вдруг птица и рыжееглазо подмигнула.

Легче было поверить, что заговорила в аквариуме рыбка-телескоп или, к примеру, старая этажерка, — с ними-то Октябрь Петрович беседовал каждый день. Как, впрочем, и с обеденным столом и со спальным диваном.

— Октябре, — повторила птица, склонив голову, будто ожидая ответа.

Любое, самое чёрствое, сердце дрогнет, когда залётная птица назовёт по имени.

— Пупушка моя, — прошептал Октябрь Петрович. — Откуда же тебя, пичужка, принесло?

Да, видимо, из отдалённых мест, из тех, где



к «октябрю» относились без предубеждения, так же, как к «августу» или «февралю».

Высказавшись, птица задремала на этажерке. С закрытыми глазами — точь-в-точь нахохлившийся тополиный пух. Октябрь Петрович прислушался близко, бьётся ли сердце, и ухо наполнилось живым, тропически горячим, духом. «Жар-птица! — подумал. — Или у неё температура, у моей пупушки? Сгорит!» Засуетился, прокладывая по полу новые дорожки. Оставил на столе записку: «Скоро вернусь. С приветом. Октябре». И побежал, не переобувшись, к зоологу Волкодаву.

Собравшаяся было гроза заленилась. Над нашим тихим городком грозы обычно скучают и задрёмывают. Дожди, конечно, проливаются. А вот громов с молниями и старожилы не припомнят. С тех пор, говорят, как Тунгусский метеорит пролетел. Над нами он высоко летел, однако оставил след. Щель вроде развёрстой ножевой раны, тянувшейся по всему небу, которая и сейчас ещё видна в новолуние; поэтому-то в городке всё эдак шиворот-навыворот — так наши думают. В эту щель многое утягивает, и оттуда порой неизвестно что сыплется.

Октябрь Петрович спешил по колено в пуху, пыхтя и отфыркиваясь, как старый колёсный пароход. Пух поднимался вялой волной, витал, порхал, облепливал.

Волкодав не сразу признал в Октябре Петровича. А поверхностно узнав, сосредоточился на тапочках, решив, что это чета ангорских кролей.

— Никак не пойму, где их красные глазки! — присел он на корточки. — Неужели оба слепень-

кие?! — опустился на четвереньки. — Вот беда — такие красавцы!

— Беда-беда! — вторил Октябрь Петрович. — Температура у моей пупушки!

Волкодав потрогал одному кролику лоб, и пух, понятно, развеялся, оставив зоолога в ложном положении, носом в тапках, будто он вовсе не зоолог, а какой-нибудь сапожник-ортопед.

— А пупушка с температурой? — нашёлся Волкодав, поднимаясь с пола. — Кто такая? Где?

Октябрь Петрович уже тянул его на улицу, где падали, распугивая пух, редкие, как предвечерние звёзды, капли.

Когда они вошли, птичка сидела на ватрушке, но дверной сквозняк тут же перенёс её на прежнее место, к фотографии молодого Октября Петровича.

— Октябре! — сказала так отчётливо, что Волкодав вздрогнул.

Осмотрев этажерку, фото и саму птицу, осторожно заметил:

— Я, простите, не орнитолог, не специалист по пернатым, но тут и перьев-то не видать — один, простите, пух с температурой пятьдесят по Цельсию. Для птиц такого калибра, пожалуй, завышенная. Однако, думаю, объясняется тем, что она говорящая, — от разговора всегда повышается. В общем, смею утверждать, здоровый экземпляр.

— А из какого отряда? — повеселел Октябрь Петрович. — Из каких краёв моя пупушка? — Между делом вскипятит он чайник, накроет уже на стол и предлагал зоологу единственную, чуть поклёванную, ватрушку.



Волкодав задумался, прихлёбывая чай. «Надо говорить правду и только правду,— вспомнил он.— Но не всю правду».

— Редкая птица! Есть такой отряд, или, скорее, семейство. Точнее — маленький род. Старьёвщики. Обитают где придётся. Кстати, на вашей фотографии попался один. Вон, в кустиках, за левым плечом!

Октябрь Петрович надел очки, расправил складную походную лупу и долго разглядывал птицу на ветке — не замечал прежде. Рядом на этажерке его пупушка мигала рыжими глазами. Возможно, она дальняя родственница, праправнучка той, что на ветке. Чего только не бывает на белом свете! Какие нити тянутся во времени! Какие петли и узлы! Он вытер глаза под очками.

— Знаете ли,— сказал Волкодав, машинально надкусывая ватрушку,— старьёвщики очень долго живут. Божьи птахи — не жнут, не сеют, в магазины не ходят, а сыты бывают. Может стать-ся, именно ваша, простите, пупушка — на этой фотографии. Не исключено!

— Октябре,— кивнула птица-старьёвщик.

Октябрь Петрович присел на диван и тут же вспомнил, будто пух внезапно сдуло, что лет сорок назад знал испанца, который точно так и величал его — Октябре!

И утонуло сразу в какую-то прорубь или полынью, где течение было стремительным, то ледяным, то тёплым, и проносилось мимо такое, давно потерянное, как из чужих жизней,— кувырк. Перочинный ножичек и велосипед «Орлёнок», бесконечный поцелуй с девушкой,

у которой выпил мышьяк из зуба, машинист, помахавший рукой из паровозного окна, зарытые под кустом бузины двадцать копеек, жёны, бабушки и дети, свои и посторонние. Всё мелькало, но отчётливо, как если бы через походную лупу.

А казалось, он в забытии, в тёмной, как чулан, старческой дреме. Волкодав, докушав ватрушку, раскланялся с пупушкой и потихоньку вышел. Хоть и не орнитолог, а догадывался, когда и за чем прилетает в дом старёвщик.

Фамилия того испанца ускользала от Октября Петровича — крутилась рядом, да пока не давалась. То ли Этажеркис? Зато объявился завхоз Ларей, выдававший испанцу сапоги на два размера меньше. «У них так заведено, — говорил Ларей, — сапожок должен притискивать. От этого огонь в глазах и норов жаркий!» Испанец, не в силах высказать всё по-русски, жаловался на свой манер: «Муй апретадос, Октябре! Каррахо, душу давят!» То ли Дивантес его имя?

Постучали, и вошёл, как пёс, на четвереньках, старёвщик Соловей.

— Верните уж птичку, — начал с порога. — От меня слетела, голубушка! Перебирал утиль, так и выпорхнула из рукава телогрейки. Верните уж добром, не то сам уведу.

Октябрь Петрович помотал головой, и Соловей растворился, не закрыв, правда, дверь. Пришлось вставать, и, проходя мимо буфета, вспомнил-таки фамилию — Сервантес! Он написал потом книгу «На меня упал Кремль», где и про сапоги, и про завхоза Ларея. А об Октябре Петровиче ни строчки. Да и есть ли где о нём какая-либо запись, не считая паспортного стола?

Похоже, давно махнули рукой — существуй, Октябрь Петрович, как знаешь и сколько можешь. Ни болезней, ни нужды, ни сумы с тюрьмой, ни горя горького, ни беды, ни страданий. Так, мелкие утрызения и недовольство собой вообще, начиная, в частности, с имени. Ни голода не помнил, ни жажды, ни серьёзных лишений. Ну, выдрали три или четыре зуба, ногу ломал и ребро, голову разбивал, по палыцу молотком, морду начистили пару раз, и то не слишком. Смерти в глаза не глядел, а если и глянул, то не уразумел, куда именно.

Однако душу давило. Не как у Сервантеса, от сапогов, а, напротив — от чрезмерной лёгкости, изнутри распирало. Такая жизнь, как тополиный пух, носимый ветром. Куда, зачем?

Хотя были непонятые знаки и заспанные откровения! Мог бы, конечно, разобраться, да поленился. Ни разу, так сказать, грозой не разразился. Всё мелким хилым дождичком, редкими каплями. А сваялся-таки пух комьями — мокрыми и пудовыми.

«Центнер золота намыл, — думал Октябрь Петрович. — А что оно, то золото? Вот только и есть хорошего, что пупушка на этажерке!»

Птица была ласковая. Раза по три на дню говорила — Октябре.

Так за ней ухаживал Октябрь Петрович, что любимый аквариум подзапустил. Привыкшие к заботе рыбки растерялись и одна за другой всплывали брюхом кверху, затянутые пуховой ряской.

Кончился уже июль. Пролетел, шелестя, август. И сентябрь отходил, близоруко глядя под ноги.

Тополиный пух унесло куда-то с улиц. Только в доме Октября Петровича полёживал он как живой, чуткий и подвижный, готовый всколыхнуться хоть до потолка, заноса тропинки-дорожки — от дивана к столу, от стола к этажерке, — а под дверью сбился плотным бугром.

— Октябре, — говорила птица-старьёвщик, подмигивая рыжим глазом: мол, потерпи.

И чем ближе к октябрю, тем покойней душа. Так бывает, когда уверен, что скоро-скоро всё само собой разрешится, то есть поймёшь, куда и зачем...

Как-то вечером, когда чай пили, дунул в форточку октябрьский жёсткий ветер, взбаламутил комнатный пух, подхватил Октября Петровича вместе с пупушкой и увлёк в какие-то серые не-сусветные дали. Хотелось бы сказать — в счастливые.

Но, вероятно, счастья там нет. Поскольку счастье — вольная пташка, где захотела, там и села. А нашими-то ветер правит. Куда ветер, туда и они, — вплоть до той щели от Тунгусского метеорита.

Впрочем, уже то хорошо, что Октябрю Петровичу, хоть и не постигал, до конца знаки подавали. Не позабыли. Где-то его имя записано, не стёрлось. И не так уж оно плохо и коряво, если позволили напоследок чаю выпить.

И АВГУРША

Известно, что тётя Муся толковала сны. Но кроме того, она волхвовала, то есть гадала по древнему способу, наблюдая полёт птиц и внимая их крикам. Тётя Муся называла это авгурологией, то есть птицегаданием.

В нашем городке полагали, что тётя если и не совсем дура, то с большущей придурью. Однако это было не очень-то справедливо. Тётя Муся обладала таинственным пророческим даром, который, увы, всегда даётся в обмен на другие способности, чаще всего умственные. Сознание тётиного напоминало покосившуюся избушку — вот-вот рухнет, — зато под сознанием, как в глубоком погребе, находилось много чего, вроде солений, варений, наливок и квашеной капусты, словом, разносолы, извлекаемые от случая к случаю.

Народу собиралось, как в цирке шапито, когда тётя в специальном гадательном платье с капюшоном выходила на улицу и замирала, будто чёрный обугленный столб, задрав голову и приложив слуховую трубку к уху. Долго всматривалась в осеннее круженье вороньих стай, раскладывала на отдельные звуки их карканье.

Почему-то по воронам у тёти Муси лучше всего получалось. С ними, как она считала, был энергетический контакт. Другим птицам меньше доверяла.

— Особенно воробьи брешут, — говорила презрительно. — Журавли заносчивы. Дятлы замкнуты. Ну, сороки ещё куда ни шло...

А вороны, как правило, сообщали немало полезного. Частенько, правда, намеренно какали, целясь в тётю. Но это и придавало их отношениям особую доверительность. Чем больше попада-

ний, тем точнее тётя пророчествовала, достигая порой чудесных озарений. Например, за неделю предсказала, что меня непременно укусит дикий зверь, оказавшийся в итоге бурундуком.

«Птичница, птичница», — шептались в толпе пасмурным октябрьским днём, ожидая представления. «Никакая не птичница! — вступался я за тётю. — Авгурша!» Это слово мне нравилось — звучало серьёзно, устрашающе.

Иные и впрямь побаивались тётю, как ведьму. Но не так уж чтобы очень сильно, поскольку ведьма-то обкаканная.

И на этот раз вороны не подвели. Всей стаей, от мала до велика, уделав тётю с головы до ног, дали знать, что пропал некий Октябрь, и указали адрес.

Потрясённая, не вникнув как следует во все детали, поспешила она к участковому Фёдору Чуру.

Фёдор перевидал на своём участковом веку всякое разное: брил снежного человека, голыми руками ловил медведей-шатунов, распутывал преступления до того, как они совершались. Но когда увидел тётю Мусю, оторопел. Судя по её облику, надо заводить дело о запятнанной чести и замаранном достоинстве, а это безнадежная волынка. Фёдор Чур вообще старался увильнуть от любых дел, которые могли привести к суду. Выражение «суд да дело» повергало в уныние и тоску. Он уже достал из сейфа платяную щётку, намереваясь почистить тётю, успокоить и спровадить с миром.

— Нет-нет! — воскликнула тётя Муся. — Не то позабуду адрес! За мной, немедля! И револьвер! Возьмите револьвер — возможно, там бандиты...

Ещё с милицейской школы, где Фёдор писал курсовую на тему «Бандитизм», слово это будоражило, задевало за живое. Как только слышал о бандитах, пусть даже по телевизору из столичных новостей, теребил кобуру и приговаривал — «пах! пух! пах!».

В общем, не разобравшись, что и как, без составления протокола, Фёдор Чур доверился тётке и устремился за ней по вороньему адресу, захватив полевую набедренную сумку с блокнотом для следственных записей и с повестками на допрос да револьвер в кобуре.

Идти было не так уж далеко. В нашем городке далёких путей вообще нету. Разве что из конца в конец — от магазина до бани. Фёдор, припоминая, есть ли в барабане хоть один патрон, лишь и успел спросить, что же стряслось.

— Октябрь пропал! — коротко отвечала тётка.

«Тьфу ты! Угораздило! Связался-таки с полоумной», — расстроился участковый, но всё же огляделся. Да конечно, вот он октябрь, в анфас и в профиль. Типичный для здешних мест, с ветрами и мелким подловатым дождём. На дворе, как говорится.

Тётка Муся тем временем уверенно свернула в какой-то дворик и уже стучала в какую-то дверь, за которой стояла особенная тишина, говорящая чуткому уху: в доме пусто, во всяком случае, ни живой души.

— Ломайте! — распорядилась тётка.

И то ли безумие её было так заразно, что подавило здравый участковый смысл, то ли самому Фёдору давно хотелось безотчётно вломиться куда ни на есть с перестрелкой, — словом, раз-



бежался, да запнулся неловко и вышиб дверь головой. Посверкивая кокардой, милицейская фуражка укатилась, а он замер на пороге.

Вся комната беззвучно, плавно шевелилась. На миг из сероватой пушистой мглы выплывали диван, стол, этажерка и тут же исчезали, как не было. Колеблясь, стены составляли то острые, то крайне тупые углы. И пол стремился к потолку. А в голове резво кружилось веретено. Фёдор Чур, опершись о косяк, впервые понял, насколько заморочена эта жизнь, и револьвер в ней не помощник. «Октябрь пропал, — пытался рассуждать он. — Значит, сейчас ноябрь и время снегопада».

Возникла рядом тётя Муся и посмотрела прямо в глаза. «Какая красивая! — восхитился вдруг Фёдор. — Точно снегурочка!»

— Послушайте, у вас просто лёгкое сотрясение, — сказала она. — Двери лучше выбивать ногой или плечом. — И взяв под руку, усадила на диван, а сама растворилась в немой мельтешащей зыбкости.

«Да мой ли это вообще участок? — думал, проясняясь полегоньку, Фёдор. — На моём точно октябрь, а здесь чёрти какие дребезги, пух тополиный, будто со всех улиц смели! Вот бандитизм!» На этом слове, как от наштабря, решительно очнулся.

Пух утихомирился, осел, и выявился обыденный комнатный пейзаж, среди которого шнырела тётя Муся.

— Тут жил Октябрь Петрович, — доложила взволнованно. — Промывальщик золота на пенсии. И вот странная записка: «Скоро вернусь.

С приветом. Октябре. Не поминайте лихом, если помянёте! Прощайте навсегда!» Причём относительно «лиха» и этого «навсегда» можно твёрдо сказать, что приписано позже, другим карандашом, в спешке. Надо заводить дело о пропаже! Или о похищении!

— Погодите, погодите, — Фёдор Чур отобрал мятый листочек и медленно, вдумываясь в каждую букву, как учили в милицейской школе, прочитал слева направо, а затем — справа налево. — Да какая пропажа?! — вскочил наконец с дивана. — Че-пу-ха! Может, он уехал загорать на Чёрное море или в деревню к родственникам, по грибы. Нет оснований для возбуждения!

Тётя Муся, исследуя аквариум, укоризненно глянула на участкового, как могла бы снегурочка на бессмысленный костёр, через который так или иначе, а придётся перепрыгнуть.

— Вы поймите! — подошёл Фёдор, слегка пошатываясь. — Я вам скажу по секрету! Знаете, сколько людей исчезают на планете за один только день? Примерно три городка, вроде нашего, если считать со всеми домашними и бродячими животными! Бесследно, — шепнул он. — Ффить — и нету. Органы бессильны... — и, еле добредя до дивана, показал насколько.

— Хорошо, — мягко ответила тётя. — Сама разберусь. Кстати, в аквариуме был золотой песок — остались следы на стенках. А теперь пусто, и рыбки сдохли! Это вас не возбуждает?

Пожалуй, возбудило-таки. У Фёдора опять что-то сильнее закружилось. «Золотой песок. Рыбки сдохли, — туго наматывалось в голове на веретено. — Сдохли рыбки. А теперь пусто. Да

и хорошо, что пусто. Следы на стенках уничтожить! Записку проглотить! Дверь опечатать! Вот и все дела, как учит милицеская жизнь».

— Покиньте помещение, — приказал из последних сил, стараясь придать голосу предельную участковость. Веретено тут же разогналось и так громко зажужжало, от левого уха до правого, что только и оставалось потерять сознание. «Временно», — подумал Фёдор Чур и отключился.

Насколько растянулось это «временно», трудно сказать, но когда участковый вернулся и открыл глаза, в комнате было людно.

Как стрекозиные крылья в июле, там и сям потрескивали свечи. В их тёплом, но тревожном зарничном свете ожил, как дым, тополиный пух, и причудливые фигуры из него лепились. Намётанным глазом участковый сразу признал зоолога Волкодава, Петра Гамбоева, Курилова с автобазы, старьёвщика Соловья и даже едва знакомого усатого старшеклассника, которого задержал однажды именно за преждевременную усатость. Все они молча и понуро сидели за столом, будто измаявшиеся работники в ожидании ужина.

«Секта! — ужаснулся Фёдор, и в голове снова заверетенило. — Жер-тво-при-но-ше-ние! — вытянулось страшное и дикое, длинное, как кишка, слово. — Не меня ли, черти, резать собрались?» — попытался нащупать револьвер. Но кобура была растёгнута и совершенно пуста, как выпотрошенный кошелёк. И сам Фёдор Чур, участковый, вдруг ощутил себя потрошёным судаком, без воли к сопротивлению, точно молочный ягнёнок под ножом.

«Пусть будет, что суждено», — подумал он так, как в милицейских школах не учат.

Какая-то чёрная мелкая тень метнулась, кудахнув, по полу. И торжественный, тёти Муси, голос прозвучал:

— Начинаем ауспицию! Куриный допрос!

За то время, пока Фёдор отлёживался, тётя многое успела; так набегалась, что туфли в прах разбила, еле держались на ногах. Она ещё раз пообщалась с воронами, которые указали подозреваемых по делу. Выписала всем повестки от имени участкового на адрес Октября Петровича. Взяла напрокат у Павлюков белую курицу и тщательно вымазала её сажей. Это был надёжный, веками проверенный способ дознания. К невинным курица доверчиво подходит, оставляя следы сажи на одежде, а от злодеев удирает с криками.

— Слово моё крепко! Слово замок, ключ язык! — взобралась тётя Муся босиком на табуретку и подвывала, взмахивая руками. — Еду на гадине, уж погоняет, а сам дюж! У судей полон двор свиной, и я тех свиной переём! Суд судом, век веком!

Свечные огоньки колебались от этой тарабарщины, пух порхал и, приникая к свечам, вспыхивал ярко и кратко. Чёрная курица, как на параде, важно неторопливо выступала вокруг стола, выбирая, чьи ноги можно вымазать. Чтобы не казаться совсем уж лишним, Фёдор Чур приподнялся и сел на диване. Никто и глазом не повёл. Все заморожено, едва дыша, слушали тётю Мусю.

— Будь ты, вор, проклят в землю преисподнюю, за горы Араратские! — заклинала она. —

В смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную! Будь ты прибит к притолоке осиновым колом, иссушен суше травы, заморожен пуще льда! Окривей! Охромей! Ошалей! Валяйся в грязи! Не свою смертью умри!

Мурашки пробежали по спине участкового и разместились дружно на затылке. «Вот сила! — подумал он. — Надо бы записать, чтобы применять на допросах». В тот же миг чёрная курица дико кудахнула, будто голову срубили, шарахнулась прочь от стола, прямо к Фёдору на колени, и затихла, притаилась.

Разом задуло свечи. Что-то тяжело упало — возможно, тётя Муся с табуретки. А над столом, как бледная, заволочённая перистым облаком луна, взошло лицо старьёвщика Соловья, которое участковый опознал по голосу.

— Всем сидеть! — дрожал и подпрыгивал голос. — У меня револьвер! Бабахну!

— Да патронов-то нету, — ясно вспомнил Фёдор и, поднявшись с дивана, с курицей под мышкой, пошёл на старьёвщика. — Сейчас тебе — и ахну, и бабахну!

— Стой! — вскрикнул Соловей хрипло, будто первый утренний петух. — Стреляю!

И вырос впотьмах стремительный, свирепый, как от пушечного ядра, свист, подобный тонкому, острому полумесяцу, и горячо полоснул участкового по шее. Обронив курицу, придерживая обеими руками многострадальную голову, которая вот-вот наконец должна была отвалиться, он трезво успел рассудить: «Красивая смерть — при исполнении! Однако откуда патроны?!» И рухнул на пол, взметнув пуховую волну.



Надо признать — большая часть этого запутанного дела прошла без прямого участия участкового. И не то чтобы намеренно увиливал, но так уж получалось, что в основном, по разным причинам, отлёживался без сознания на диване. Да он и сам был удивлён, когда в очередной раз очухался и огляделся.

В комнате горел яркий свет, хотя пахло свечами. На отдельном стуле, подле этажерки, сидел связанный старёвщик Соловей, окривевший и ошалевший, весь в тополином пуху, а перед ним прохаживалась тётя Муся, размахивая двумя револьверами.

— Ко мне вообще сроду, согласен, ни одна курица не подход-и-и-ила, — всхлипывал и заикался Соловей. — Не знаю, согласен, почему-у-у. Пахну, что ли, плохо?!

Тётя Муся совала ему какую-то фотографию.

— Знакомы?

— У меня, согласен, вообще сроду ни знакомых, ни дру-у-у-зей, — булькал он носом, выдавая звучные коленца — от глухого потрескивания до хрипловатого свиста, вроде ржанья жеребёнка.

— А где все остальные? — подал голос участковый, припомнив кое-что. — Курица. И прочие. К тому же в меня, кажется, стреляли!

Тётя Муся подошла к Фёдору и убедительно поглядела в глаза.

— Всё — сон, — произнесла отдельно-веско. — Кон-ту-зия от две-ри. Вздре-мните, вздрем-ните, вздремн-и-те.

— Нет-нет! Не спите, начальник! — вскрикнул Соловей. — Глупая баба меня губит! Заклинала! Курицей травила! Теперь пухом! А у меня,

согласен, удушье от тополиного пуха! Спазмы! Кровь от мозгов отходит, и не знаю, чего творю. Это я стрелял из водяного пистолета со свистком. Пошутить хотел, а вы, начальник, согласен, не поняли. Развяжите — всё расскажу...

— Вас трудно понять! — перебила тётя. — Брежете, как воробей! Слишком много свисту!

Фёдор Чур в который раз, с опаской уже, поднялся с дивана. Пора было вмешаться и отстранить тётю Мусю с её куриной самодеятельностью. Для начала отобрал оба револьвера — водяной со свистком и настоящий, без свистка и без патронов. Не сразу разобрался, какой из них совать в кобурку. Ещё бы выяснить, зачем он здесь, в этом доме, с шальной тётей и связанным старьёвщиком.

— Итак, — сказал, усаживаясь за стол. — Нету ли тут какой-нибудь книги, желательно потолще?

Тётя Муся живо вытащила с этажерки тяжёлый том под названием «Разведка золоторудных месторождений».

— Подойдёт, — кивнул Фёдор. — Теперь по очереди кладите сверху правую руку — или левую? — засомневался он. — Нет, лучше правую! Клянитесь говорить правду и одну только правду. А кто соврёт — расстреляю! — и погрозил неизвестно каким револьвером.

Тётя бегло, без запинки пересказала события угасшего дня, вплоть до того, как Пётр Гамбоев ударил Соловья в глаз, скорее — огрел или даже треснул, а остальные бывшие подозреваемые охотно повязали.

Измученного курицей, заклятьями, побоями и тополиным пухом старьёвщика доконала но-

вая страшная клятва с угрозой, и он, как говорят меж собой в участках, запел-таки соловьём.

— Да-да-да! Старик Октябрь, согласен, в моей рабочей каморке — утильсырьё сортирует. По своей воле пришёл и живёт отшельником, на воде и хлебе, как чистый и непорочный. Только с одной птицей беседует. А я ему слово дал, согласен, что молчать буду! Да разве тут смолчишь, когда пытаются?!

И Соловей разрыдался, будто ребёнок. Так горько, отчаянно и бурно, что хлипкий стульчик под ним ходуном ходил, вот-вот рассыплется.

— Допустим, всё так, — сказал Фёдор Чур, выдавший немало поддельных слёз. — Но есть пробелы! А именно, — придержал он стул, заглянув в мокрое лицо старьёвщика, как смотрит голодный пёс в пустую миску, — где золото?!

— Како-такое золото, начальник? — вмешалась тётя, придуриваясь больше обычного. — Эка вас контузия закрючила! Оно бывает, вежды золотом порошит! Вот плюну в глаз — всё стянет...

Участковый подскочил к ней, сощурившись на всякий случай, как моллюск из рода мидий.

— Что за прибаутки?! — разрядил со свистом водяной револьвер в потолок. — А следы золотого песка в аквариуме! Сами говорили!

Тётя Муся покорно опустила голову и встала к стенке между буфетом и этажеркой.

— Так и быть — расстреливайте уже. Каюсь, соврала! Чтобы дело возбудить о пропаже Октября. Одно скажу в последнем слове: правда да время дороже золота.

И участковый Фёдор Чур, и Соловей-старьёвщик примолкли вдруг, задумавшись невольно, —

что дороже? Особенная, редкая тишина заполнила комнату, будто пусто в ней, ни живой души, а те, кто есть, совершенно лишние, неуместные. Раздувалась эта тишина, как воздушный шар, выпихивала, выталкивала за порог.

Тётя Муся освободила из силков потрёпанного, зарёванного Соловья. Фёдор подобрал полевую сумку. И они оказались на улице, какой-то мало узнаваемой, поскольку новолуние, и щель от Тунгусского метеорита разрежала с запада на восток всё небо, отчего, как обычно в эту пору, щемило сердце и хотелось понять до конца, что всё-таки дороже — золото, правда или время.

— Зависит от качества, — сказал Фёдор, опечатывая дверь сапогом со специальной подковкой на каблуке — участковым штемпелем, украшенным двуглавым орлом. Где бы ни ступал он, повсюду следил орлами. В нашем городке хорошо знали пути Фёдора Чура: куда ни глянь — орлы на грунтовых тропинках.

На этот раз обе головы направились к каморке старьёвщика Соловья.

— По орлам не гадают? — спрашивал Фёдор тётю Мусю.

— Да разве до них дотянешься? — отвечала та. — Не разглядишь и не услышишь. Гордые! Что им наши пустые заботы!

— А ваши любимые вороны напраслину возводят, — шмыгнул Соловей. — Клевещут, согласен, на безупречных старьёвщиков.

— Ну простите — не всегда истолкуешь до конца верно, остаётся кое-какая неочищенная шелуха, — сказала примирительно тётя. — Однако главное — зерно! Сейчас, надеюсь, мы его увидим.

Они подошли к небольшому всхолмлению, напоминавшему в ночи и шалаш, и землянку, и бомбоубежище, и скромный погребальный курган с дверью.

Соловей крайне долго, сопя и вздыхая, копался с висячим замком, так что участковый уже заподозрил злой умысел. Но выбивать вторую за день дверь ему не хотелось. Голова от первой не совсем ещё оправилась — в ней вроде образовалась прореха, в которую бодро поддувало, сквозило, будто в разодранные штаны. Ощущение хоть и не плохое, а новое, и надо время, чтобы привыкнуть.

Наконец дверь оглушительно, спросонок каркнула и отворила некое гнездо, или нору, или просто яму, откуда дохнуло, как из свежего склепа.

— Проходите, проходите! — радушно приглашал Соловей в кромешную тьму. — Сейчас, сейчас, согласен, будет свет...

И действительно, наметилась лампочка, такого вялого накала, что хотелось в телескоп разглядеть, как далёкую туманность. На палец в окружности хватало её светлячковой энергии.

— Тут склад утильсырья! — долетал то слева, то справа голос старьевщика.

Он очень оживился в родной обстановке и лопотал без умолку, как опытный экскурсовод в музее, где только что вышибло пробки.

— Утиль — означает пользу или выгоду! То есть здесь повсюду — осторожней, пожалуйста, ногу ставьте! — полезное сырьё. А знаете ли вы, что такое сырьё? Нет, вы не знаете, согласен! Это предметы и материалы, которые сначала под-

верглись воздействию труда, а затем влиянию времени, и теперь, согласен, нуждаются в переработке, в обновлении. Вы понимаете?! Философия вечного возрождения из небытия! Утильсырьё — отражение жизни, где всё на пользу, даже смерть! — воскликнул прямо под ухом участкового.

Пока слушали Соловья, глаза всё же пообвыклись, хоть и мешала лампочка, подобная красному карлику.

Оглядевшись, тётя Муся в одном из уголков этой подземной вселенной обнаружила бледное свечение и пошла на него, то и дело слепо спотыкаясь об утильсырьё, застывшее в небытие до возрождения. Цеплялась за какие-то крюки и острые пружины, пребольно ударилась коленом о кованый сундук, села с размаху, потеряв туфли, в глубочайшее корыто, еле-еле перебралась черезzybучий бархан верхней, судя по пуговицам, одежды, растолкала свору плюшевых зверей и роту инвалидов кукол, вцепилась в громадный шкаф, типа серванта, и на ощупь потихоньку обходила его, вспоминая великую китайскую стену.

Мало-помалу тётя приближалась к тем пределам, за которыми крутая, неодолимая, как скала, паника. Уже давным-давно не слышался голос Соловья — последним долетело слово «смерть». Тётя понимала, что обратную дорогу не найти, да и кричать напрасно, — жадное до всякой жизни сырьё проглотит звуки. Как это страшно и постыдно — заблудиться босиком в утильсырьё!

Тётя Муся миновала наконец безмерный сервант и ахнула, узрев вдруг старика, восседавшего



на ворохе веток, которые зеленели и розово цвели совсем не по сезону. У этого старика, можно сказать, на лбу было написано — Октябрь. Не Август, не Февраль, а именно что Октябрь Петрович, белый и пушистый, как рыжеглазая птица на его плече.

Он вроде и не замечал тётю. Смотрел сквозь, как слепой. Если что и видел, то явно нездешнее, которое обычным оком не разглядеть.

Перед ним лежала грудa мусора и обломков, бывших когда-то чем-то стоящим. И вот, коснувшись руками, он всё привёл в движение — сперва по кругу, медленно, а далее спирально вверх, быстрее, стремительней, пока не вырос столб призрачного света. Тогда, едва заметно, Октябрь Петрович шевельнул губами, а птица на плече произнесла отчётливо: «Обуть». Столб укоротился до величин пенька, померк, и на месте кучи утильсырья оказалась пара сияющих хромовых сапог, точь-в-точь как у Фёдора, но тёти Мусинога, похоже, размера

Она так разволновалась, что не могла сообразить, чему больше дивиться. В её сознание, как в тесную избушку, ровным счётом ничего не помещалось — весь день и половина ночи казались сплошным наваждением. Однако, заглянув в подсознательный погреб, тётя успокоилась, — объяснения рано или поздно отыщутся, как нашёлся пропавший Октябрь; если не сейчас, то после обновления.

Она примерила сапоги, поцеловала Октября Петровича в пушистую голову и пошла обратной дорогой за белой птицей неизвестного рода-племени. Они долго петляли и, кажется, беседовали.

Когда завиднелась туманная лампочка и послышались голоса старьёвщика с участковым, толковавшие о пользе и выгоде, о правде, о времени и золоте, птица покинула тётю Мусю, вернулась на плечо к Октябрю Петровичу.

Так он и прожил ровно год в сыром уголке за старым сервантом, всё обновляя. А в следующем октябре опять исчез, уже бесповоротно, не влекомый ветром, но по своей, видно, воле, — теперь он там, где и в помине нет сырья, а лишь один утиль, в чистом, непорочном виде.

Впрочем, никто об этом ничего не знает, поскольку тётя Муся прекратила навсегда общение с птицами, за исключением гусей, которых готовит на Рождество с яблоками. Чего-то она, конечно, лишилась, но и приобрела нечто. Сапоги до сих пор не сносила. Всё уравновешено в мире. Особенно в нашем городке.

Например, Фёдор Чур завёл в участке пару рябеньких кур, на всякий трудный случай, для определения виновных. Его куры несутся без участия петуха, и это Фёдора ошеломляет. «Птицы, — говаривает он, — загадочные твари! Многому можно поучиться. Пожалуй, как выйду в отставку, стану авгуром». Уже и сейчас, если дело очень запутано, участковый простаивает часами, как на посту, под вороньими гнёздами. Однако уходит без информации, в незапятнанном мундире — похоже, нет энергетической связи.

А что касается правды и времени, то золотой песок из аквариума обнаружился ровно через три года и триста шестьдесят пять дней, когда я паспорт получил. Тётя Муся передала его от Октября Петровича в наследство. Не зная тол-

ком, как поступить, я заключил наследство в песочные часы. И вот уже много-много лет течёт золотой песок бесконечной и необратимой медлительной струйкой. Какое он время отсчитывает? Чьё? Здешнее или тамошнее, где Октябрь Петрович? И я сомневаюсь, доведётся ли мне в этой жизни хоть раз перевернуть златопесочные часы. Разве что птицы подскажут — полётом и криком...



Вадик Свечкин очень похож на одного из первых наших космонавтов. То ли на Белку, то ли на Стрелку. Не помню точно, кто из них был лайкой. Кажется, Белка.

Особенно похож Вадик зимой — в шубе и шапке с крепко-накрепко подвязанными ушами.

Шапочные шнурки у Вадика всегда пожёванные и заледеневшие. Поэтому шапку снять не просто, как герметичный шлем.

На первом уроке он обыкновенно сидел в шапке и плохо слышал, дожидаясь, когда шнурки размякнут. Лицо у него в это время будто за стеклом, особенно светлое и мечтательное. Ну точно умненькая Белка, которая пытливо глядит из иллюминатора на Землю, не понимая, что это такое.

В конце концов шнурки ему поменяли на пуговицу и петельку. Однако металлическая военная пуговица со звездой — а на другую Вадик никак не соглашался — примерзала к подбородку. Во всяком случае, он так говорил и первый урок упорно просиживал в шапке. Даже на физкультуре, в жарко натопленном спортзале, не снимал. Здорово выглядел в трусах, майке и ушанке, как хорошо подстриженный пудель.

Разве что на пении, если оно выпадало первым, у нашей классной, у Анны Павловны, выкарабкивался Вадик из шапки, стаскивал, как скальп, обдирая нос, вывихивая уши, потому что не мог не петь. Мы тогда разучивали «Хотя скафандр мне жмёт чуть-чуть, — чу-чу, тоненько заливался Вадик, — я всё равно летать хочу». Это была его любимая песня. Намурлыкивал целыми днями.

Мне он признался, что всю ночь до самого утра летает во сне, во вселенной, и ему надобно время для спуска на Землю. Иначе просто не разумеет, куда попал.

— Водолазов потихоньку поднимают из глубины, — объяснил он. — Так и мне нужна постепенность, чтобы привыкнуться. Шапка помогает.

— А как же ты летаешь? — выпытывал я, поскольку и сам летал время от времени, но не как профессионал, а скорее как любитель. Не очень-то высоко, задевая иногда за верхушки деревьев, присаживаясь на крыши домов, или в метре примерно над землёй, разглядывая траву и нюхая цветочки. Было легко и приятно. Тогда я хорошо знал, что требуется для полёта, — как именно поджать ноги, как растопырить руки и оттолкнуться. В общем-то, ничего сложного. Однако до облаков ни разу не удавалось подняться.

А Вадик-то носился среди галактик, среди звёзд, туманностей и чёрных дыр! Тут, видно, особая техника и какие-то секреты.

— А то бы я тебе не сказал?! — отвечал Вадик. — Хочу лететь пониже, чтобы заглянуть кое-кому в окошко, а меня сразу, как ракету, утягивает в открытый космос. Так далеко — потеряться боюсь. Уж очень там одиноко.

И всё же секрет имелся. А может, и более того — тайна. Скрытным и загадочным стал Вадик Свечкин. Отчебучивал такое, чего раньше от него никак не ожидалось. Ни с того ни с сего подрался со старшеклассником Подкорытиным, у которого уже усы росли. Страшно было поглядеть на этого усатого и лохматого, а Вадик на-

скакивал с отчаянной храбростью, как, например, космическая Белка могла бы на медведя. Подкорытин только молчаливо сопел, стараясь откинуть Вадика в сугроб подальше, а тот раз за разом вцеплялся в ногу и волочился, поскуливая, следом. Вся наша школа глядела на эту схватку, пока сконфуженный старшеклассник не укрылся, как в берлоге, в своём доме, оставив Вадика Свечкина на крыльце, — красного, победоносно-го и распаренного, с небольшой, но яркой радугой, выгнутой прямо над головой.

На исходе зимы Вадик полюбил, к радости своего сурового отца, лесоруба дяди Сашко, колоть дрова. Вернувшись из школы, сразу за колун — и до сумерек. Переколол семейные и уже подбирался к соседским. Многие из наших ребят нечаянно заразились, тоже начали колоть. И вскоре Вадик возглавил братство под названием «Колуны», куда принимали по свежим мозолям на ладонях. Встречаясь, они протягивали друг другу руки, повернутые навзничь, будто для игры в «оладушки», шушукались и записывали в особую тетрадь, сколько кубометров переколото в целом. У «колунов» пошла интересная жизнь. Они просыпались с улыбкой, зная, что, помимо школы, их ждёт колунное содружество. А те, у кого было центральное отопление, слонялись потерянные, обделённые, не ведая, чем заняться. Впрочем, «колуны» быстро сошли на нет, как и мозоли на ладонях.

Недолго дядя Сашко радовался. Сначала он заметил, что Вадик сменил песню.

Вместо известной и понятной, про скафандр и чу-чу, бессмысленно тянул за хвост, как изверг,

одно и то же: «У меня в груди Анюта! У меня в груди Анюта!»

Уже тогда дядя Сашко задумался, не выдрать ли Вадика на всякий случай, профилактически. И пока колебался, обнаружил невзначай в пленнице дневник с отметками за последнюю четверть. Сперва он смутился и даже покраснел, приняв за свой старинный, который ещё в пятом классе закопал на метр под землю. А когда сообразил, чей это, схватил свежесколотое поле-но и устремился на задний двор, откуда слышалось — «У меня в груди Анюта!»

Не имея дурных предчувствий, как мирный рыболов перед внезапным ураганом, Вадик перебирал снасти — разматывал бороду на леске, потихоньку напевая про Анюту. И вдруг неведомая сила содрала с табуретки, взметнула в неж-



ное весеннее небо. Вадик решил, что сейчас же, наяву вылетит в открытый космос, но завис едва ли выше кустов крыжовника. В крепкой руке папы-лесоруба он болтался, будто мешочек со сменной обувью.

— Какая Анюта, шенок?! — тряс его дядя Сашко, как внебрачного сына знаменитой Белки. — Что за Анюта?! Сознавайся, паршивый кулёнок, кто у тебя в груди!

Опутанный с ног до головы леской, вытрясенный, точно половичок, Вадик пропел:

— У меня в груди, Анюта, — и поддельно всхлипнул, — скрыта русская душа...

Такого откровения дядя Сашко никак не ожидал. Он вообще терялся, когда речь заходила о душе. Особенно когда о русской. Сразу остыл, как борщ на морозе, бережно опустил Вадика на табуретку и запечалился, поглаживая полено.

— Знаешь ли, сынок, — вздохнул он, припомнив дневник и туманное слово «педагогика», — песня, конечно, хорошая, но Анюта тут всё равно лишняя. Лишняя, лишняя, сынок. Куда лучше будет — у меня в груди, папаша, скрыта русская душа! Да и почему, — вновь нахмурился дядя Сашко, — она у тебя скрыта? Русская душа должна быть нараспашку. Крепко запомни, сынок! — и легонько постучал поленом по лбу.

Ему понравилось, как педагогично разобрался с душой и Анютой. Впервые потянуло в школу, на родительское собрание — поговорить с учителями, что скажут о способностях Вадика, и проверить, нету ли и впрямь какой-нибудь Анюты, которая дурит парню голову. Тут, кстати, и подвернулось собрание перед летними каникулами.

С утра дядя Сашко отправился с Вадиком в городскую баню. Мылись они, парились, и день за банными стенами тоже расцветал и румянился.

— Эх, благодать! — воскликнул дядя Сашко, когда вышли на улицу. — Вот когда душа нараспашку, сынок! Поёт душа и, чуешь, крылышками машет, хоть лети! Какой чудесный день для родительского собрания!

Вадик тоже чуял благодать. И всё-всё, что в нём было, махало крылышками — вот-вот полетит.

Небо сияло отовсюду — и сверху, и снизу, из луж. И грязь кругом ослепительная, чёрная да жирная — так и хочется червей накопать. Только родительское собрание, как грозовая туча на горизонте. Если полечу, решил вдруг Вадик, это хоть немного отвлечёт папу — не будет слишком уж переживать на собрании и выяснять про Анюту.

Вадик внутренне собрался и, когда они прошли с километр от бани, сделал почти так, как я объяснял. Ноги поджал, руки растопырил и, сам не поверил, — полетел!

Правда, не очень высоко и недалеко, а ровно до ближайшей небесной лужи. Чуть не захлебнулся, и дядю Сашко заляпал с ног до головы. Хорошо, душа у того пока ещё пела и махала крылышками. Вытянул Вадика без лишних слов, как морковку из грядки, и — обратно в баню.

— Что же ты, спотыкач-нога, — мягко сокрушался, стирая Вадика, — кругом благодать, а ты моськой в слякоть?

Отмылись, просохли. Вышли на улицу. А день ещё краше. Кажется, листики успели проклю-

нуться и трава кое-где. Птицы кувыркаются и щебечут почти по-людски.

— О-хо-хо! — вздохнул полной грудью дядя Сашко. — Оглянись, сынок, ангелов увидишь!

Обнял он Вадика и запел про скафандр. Вадик волей-неволей подтягивал, хотя о другом думал. Так и шли с песней, в ногу да в обнимку, чистые и свежие, полдороги до дому.

У клуба встретили Петра Гамбоева. Дядя Сашко остановился перекурить, поговорить о боксе, о нокаутах и нокдаунах, об апперкотах и клинчах, о зуботычинах и толчках, вообще о жизни.

Тогда Вадик и сообразил, в чём была его ошибка, — в толчке! Совсем позабыл о толчке! Сейчас они увидят, как летает Вадик Свечкин! Отошёл в сторонку, поджал ноги, раскинул руки, оттолкнулся левой и полетел.

Сделал круг над клубом, задыхаясь от счастья. Хотел крикнуть — глядите, где я! Но лишь зашебетал. А дядя Сашко с Гамбоевым, как нарочно, ничего не замечали, голов не поднимали, толкая о боксе. Вадик кувырнулся в воздухе, чтобы пронестись на бреющем полёте прямо перед ними, да не рассчитал, опыта не хватило, и со всего маху рухнул в огромную лужу, окатив и папу, и Гамбоева.

Они стояли очень смешные. Черномазые в крапинку. Если бы Гамбоев выходил в таком виде на ринг, не знал бы поражений. Долго не могли понять, что же случилось. А Вадик сидел в луже и глупо-глупо улыбался, как готтентот, поймавший бегемота.

— Сщинок! — выговорил наконец дядя Сашко среднее между «сынком» и «щенком», но явно ближе к последнему.

— Нет худа без добра, — примирительно сказал Гамбоев. — Как раз завтра в баню намылился!

То ли душа дяди Сашко не совсем ещё замкнулась, то ли стеснялась Гамбоева, но хмыкнула и подмигнула:

— Выбирайся-ка оттуда, обормот, подбру-поздорову! Давненько не парились! Бог, известно, троицу любит.

И они пошли по такой известной дороге к бане, на сей раз втроём, всяко потешаясь над Вадиком и развесело шутя.

Пока мылись, не парились — пар уже был рыхлый, кислый, — день посеред, остудился и как-то досадно завял.

Вадика вели под руки, как арестованного, хотя он и не думал больше летать. Дядя Сашко прибавлял шагу, поскольку родительское собрание на носу. Вадик еле успевал перебирать ногами. И вот у клуба, точно на прежнем месте, запнулся что было мочи, неловко ткнулся и выскользнул, как птичка из кулака, очутившись в знакомой луже.

— Ах, да ты с умыслом! — осенило дядю Сашко. — Хочешь, чтобы твой папка опоздал на собрание?!

Вытаскивал он Вадика довольно грубо, невзирая на посторонних, как милиционер забулдыгу.

— Ну, пачкун! — приговаривал. — Ну, идиота кусок!

— Грязнюк! И заморандель! — добавил, отряхиваясь, Пётр Гамбоев.

Душа дяди Сашко наглухо, конечно, замкнулась. И в таком ненастном, полумытом состоянии, наскоро переодевшись, поспешил он в шко-

лу. А Вадика запер дома на ключ, предупредив о близкой порке.

В школе было тихо, как в казарме. Хмурая нянечка швабрила коридор. То ли уже разошлись все, то ли шептались где-то.

— Никого! — махнула нянечка шваброй. — Один завуч! Всегда на посту!

Дядя Сашко, припомнив ни с того ни с сего флотскую службу, протоптал к учительской гулким строевым шагом. Постучался коротко и, не услышав ответа, распахнул дверь.

Перед мутноватым настенным зеркалом сидела маленькая, как пуночка, женщина — в бигуди, с бутербродом во рту и только что накрашенными ногтями, не позволявшими вынуть бутерброд. Она напуганно кивала, мычала и так красноречиво помахивала кистями рук, что дядя Сашко сразу понял — глухонемая. Чудно, конечно, для завуча, такой явный минус, но, может, у неё уйма других педагогических плюсов...

Дядя Сашко глубоко вздохнул и начал орать, как на параде, по слогам, широко и дико разевая рот, будто приветствовал адмирала.

— Опо-здал! Из-ви-ня-юсь! — надрывался, забывая от усердия о смысле. — Я сын Вадика Свечкина! Как служба?! Нету ли взы-ска-ний?

На этот рёв заглянула нянечка и встала в дверях со шваброй наперевес.

Завуч отчаянно, с ненавистью, краснея и бледнея, дожёвывала бутерброд.

— Вадик Свечкин? — широко раскрыв глаза, наконец проглотила. — Нет таких!

Теперь уже дядя Сашко онемел и попытался изобразить руками какие-то причудливые слова.

— Неужто выгнали?!

— Лет десять как никого не выгоняли, — с досадой сказала нянечка. — А уж твоего-то, уверена, стоило бы!

— Погодите, папаша, а в какую школу вы пришли? — проницательно спросила завуч.

Дядя Сашко совсем спутался, смешался

— В первую, — посчитал зачем-то на пальцах. — Имени первых космонавтов.

С минуту завуч гневно молчала, как бедный уличный автомат, получивший копейку, и вдруг зашипела, забулькала, запузырилась, до краёв наполнив стакан газировкой.

— А это, любезный, вторая! Всего три школы в нашем городишке, и вы, уважаемый, не знаете, где сын учится!

— Родитель! — подхватила нянечка. — Чего уж от детей ожидать!?

Такого позорного дня дядя Сашко не помнил в своей жизни с тех пор, пожалуй, как закопал ужасающий дневник за пятый класс.



Нянечка проводила до дверей, чуть ли не шваброй в спину, и долго кричала, с намерением, будто глашатай, на всю улицу, что таких отцов, как шенков, топить надо в пруду, пока ещё детей не наплодили.

Еле-еле, спотыкаясь, брёл дядя Сашко домой. Подавленный, уставший от долгой бани и от короткого, но яростного собрания. Не оставалось даже душевных сил выдрать, как обещал, Вадика.

А Вадик, кстати, уже давно, чтобы не терять даром времени в ожидании порки, выбрался из запертого дома через форточку и копал червей на заднем дворе. Он любил копать червей. Попадались то скользкие, то шершавые, но отборные, тугие толстяки, танцевавшие в пальцах. Как на таких не клюнуть!

Набралась пол-литровая банка, когда лопата упёрлась во что-то эдакое, обёрнутое тряпочкой и целлофаном.

«Неужто чей-то секретик? — подумал Вадик. — Или маленький клад?! А может, историческое открытие, древние письма!»

Осторожно разгрёб землю, очистил пакет, развернул и прочёл на толстой замызганной тетради фамилию «Свечкин», начертанную шалаяй-валяй, коряво и небрежно. Дневник! Хотя поверить трудно, невозможно поверить! Ясно помнил, что схоронил в поленнице. Он ощутил себя червяком, танцующим меж чьих-то пальцев. Руки тряслись, будто ташил сома на удочку.

За минуту раздумий Вадик, как свидетель подлинного чуда, повзрослел на годы. Какие там черви и сомы, когда такое творится в мире!

Раскрыл дневник, понадеявшись найти ответ, будто в книге жизни, и уже не мог оторваться. Это было на самом деле историческое открытие, вроде стоянки первобытного человека. Многое, очень многое приблизилось, просветлело, стало понятным. Никогда ещё не читал Вадик с таким восторгом, впитывая каждое слово, каждую цифру.

За этим и застал его дядя Сашко. Они посмотрели друг другу прямо в глаза, и дядя Сашко потупился.

— Вот видишь, сынок, — проямлил он, окончательно добитый. — Такие вот дела. Запомни, сынок, — всё тайное становится явным...

— Да, папочка! — ответил Вадик и с лёгкой душой снова запел про Анюту.

А мне в то время хотелось петь про Любу Черномордикову.

Любовь вспыхнула, как новогодняя ёлка, вдруг. И сердце обмерло, захлопав шумно крылышками. На последнем уроке физкультуры в четверти. Когда Люба упала с каната.

Всё лето полыхало безумное солнце и распускались без усталости золотые шары в палисаднике. А Любы не было. Она уехала отдыхать с родителями.

Я оборвал ромашки в округе и гадал уже на золотых шарах, дёргая бесщётные лепесточки — с утра до позднего вечера. Ночью же, подобно ракете, выходил в открытый космос. Среди звёзд и чёрных дыр, в туманностях и андромедах тщетно искал Любу Черномордикову. Чудная шла жизнь — с туманом и чёрными дырами в голове, с огненными звёздами, с пульсарами и квазарами в сердце.

Лето казалось длинным, безграничным, как вселенная. Однако — раз! — и кончилось, погасло, как от короткого замыкания. Даже странно, что так быстро миновало.

Первого сентября я увидел Любу. Увы, совсем не ту, которую разыскивал ночами в мироздании, а днями — в лепестках. Долговязую, выше меня на полтуловища, тощую, как удочка, с мышинным хвостиком на голове и проволокой в зубах. Хорошо, что весной не признался в чувствах.

Возможно, проводи мы лето вместе, всё было бы не так жутко. Но образ Любы успел достичь неземных высот, и я не перенёс стремительной посадки. При спуске не обвыкся. Забыл о постепенности и об ушанке.

А дядя Сашко купил Вадику велосипед. И ночи напролёт, до самого рассвета гоняет он по улицам, без рук, с закрытыми глазами, глядя в бездонное небо. Трудно сказать, как это у него получается и в кого он влюблён, этот Вадик Свечкин, так похожий на первых космонавтов.

Хотя единственная в школе Анюта. Наша классная, по пению, Анна Павловна.

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ам не повезло с нормальными безобидными городскими сумасшедшими, за которыми можно бегать по улице, всячески задирать, дразнить и приставать, слушая невнятную, пузырячатую болтовню.

Зато имелся почти одомашненный снежный человек. Водовоз Колодезников. Конечно, не трёхметровый великан, какие встречаются в особенно глухих местах, горных и лесных. Ростом наш не вышел — метр с кепкой, эдакий снежный лилипут. Однако по другим приметам — хоть куда!

Зимой и летом ходил в шапке-малахае и бараньем тулупе мехом наружу, напоминая старинный резной гардероб. Ни в жизнь не раздевался, даже когда мылся. Намывливался, не снимая кальсон и фуфайки. Но судя по лицу, густо заросшему рыжей шерстью, весь был ровно мохнатый.

От него слышали два слова. «Во-оу-да!» — выл утробно, как матёрый волчище, в огромной железной бочке развозя по улицам воду на низкорослой кобылке с бычьей головой. «Шало-пня!» — глухо ревел, будто лось, и щёлкал кнутом, когда мы цеплялись за бочку, чтобы прокатиться. В общем, для снежного человека довольно разговорчив.

Кроме нелюдимой лохматой кобылы по кличке Фугас, напоминавшей задумчивую белохвостую гну, другие домашние животные к нему не приближались. Кошки рыдали и теряли сознание, заведя бочку. Собаки чуюли и за версту обходили. Птицы же, напротив, повсюду детали за водовозом, садились на малахай, поклёвывая что-то, как санитары на диком зубре.

Вадик Свечкин подглядел однажды, как водовоз ловил рыбу в ручье, — голыми лапами, точно медведь. Более того, поднимал на телегу свою бочку в пятьсот литров, будто заурядное полено. Может, была не полная.

Никто не видел, где и как он наполняет эту бочку. Вода, редкого родникового вкуса, никогда не кончалась, будто бочка бездонна. Поговаривали, что на дне — алмазы, потому и вода живая. Целебная. И правда, водохлёбы в нашем городке совсем не болели. Сразу умирали, когда время подходило, легко и без мучений. В аптеку если кто и заходил, так один только водовоз Колодезников.

Плодородная была вода. Польёшь огород, помидоры и огурцы уродятся гигантами. Какие-то бугорцы и помигоры!

К бочке Колодезников не подпускал. Сам черпал из неё тяжёлым кованым ковшом-водохваткой и разливал по вёдрам. Всё же вода понемногу расплёскивалась. Зимой бочка заледеневала. Над ней клубился пар. Когда становилась неузнаваемой, похожей на айсберг, и кобыла Фугас, как ни тужилась, не могла сдвинуть с места, водовоз брал зубило, бережно обкалывая лёд. И появлялась прежняя, голая, как абрикосовая косточка. Колодезников вытирал её насухо тряпочкой, как дорогой автомобиль.

Частенько он уходил в лес. И, сколько мы ни выслеживали, растворялся меж деревьев, исчезал в чаще. А возвращался всегда с полным мешком за плечами. Кого собирал, что ловил — не ведомо. Полагали, что навещал родню, снежную, к примеру, бабушку, а в мешке — гостинцы. В том числе алмазы для бочки.

Никто не знал, когда и откуда он появился. Вроде бы всегда жил, с незапамятных времён, на отшибе, в своей хибарке — с одним оконцем и дверью без крыльца. То ли сарай, то ли банька. Словом, берлога.

Неподалёку от неё как раз раскинулся вытоптанный пустырь, на котором мы с ребятами играли в лапту.

Какая усада — точно угодить палкой-лаптой по мячу, чтобы он упруго, со звоном и свистом, взвился в небо! Или словить его, если водишь в поле, одной рукой, почти не глядя, угадав полёт, гася силу палочного удара, которая ещё гудит в мяче. «Дропку поймал!» — орал тогда с восторгом, будто не мяч, а птица в кулаке. А что означает «дропка», разрази гром! — не знаю. Может, и в самом деле есть такая прыткая птичка дропка. Впрочем, поймал мяч с лёту, вот тебе и «дропка», радуйся и голову не морочь...

Играли по многу часов, до ночи. Иногда мяч выныривал из неровных мигающих сумерек прямо перед носом, не отклонишься, и так шибал, что светлее становилось. Или скрывался в траве, и тогда все ползали на коленках, шарили, как слепцы, находя лягушек и улиток, грибы, вроде дедовского табака, и яблоки, вроде конских. Самое неприятное, когда улетал к берлоге водовоза Колодезникова. Редко кто вызывался отыскивать впотьмах. Оставляли до следующего дня.

Как-то старшеклассник Николай Подкорытин забил мяч лаптой под самую крышу над тускло горевшим окном. Побежал вытаскивать да и глянул сдуру в оконце. Ничего не разобрал — так, вроде какие-то подушки повсюду, зелёные и го-

лубые, — но вскоре у него начали пробиваться усы, а потом и борода. «Заразился», — шептались наши ребята.

Всегда найдётся человек, которому, как говорится, больше других надо. У нас в городишке известно, кто это таков: Курилов с автобазы. В каждой бочке затычка. Не давали ему покою алмазы. Курилов по пятам ходил за водовозом. Даже в аптеку, где тот взял зачем-то три подушки — кислородную и две водородных. Наблюдал Курилов за берлогой, целясь в окошко подозрительной трубой, и много дней распутывал в лесу водовозные следы. Ползал и вынюхивал. Наконец соорудил охотничью засидку, как на медведя.

«Вот, баранки гну! — радовался про себя, поджидая. — Добуду камешки, верно говорю, и — к чёрту вонючую автобазу!»

Упорный Курилов знает, где притаиться, — всегда с добычей. Услышал, как птицы слетаются — фырр-фырр! — на полянку среди бурелома. Пригляделся — и еле различил водовоза Колодезникова, такой он свой в лесу, точно пень или коряга, вроде птичьего гнезда. Бесшумно, будто пуганый зверь, собирал в мешок корешки, вершки, метёлочки и камни, на которые и смотреть-то лень.

Глазам своим не поверил Курилов — столько сило-часов впустую! Однако не таков Курилов с автобазы, чтобы сразу сдаться, руки опустить.

Тёмной, непроглядной ночью — выдаются такие ночи специально для злоумышленников — подкрался он к бочке, стоявшей под навесом у берлоги водовоза. Кобылка Фугас спала рядом, погрузив бычью голову в мешочек с овсом. Толь-



ко белый хвост, как маятник, качался из стороны в сторону. Времени у Курилова было в обрез, это он точно знал, — водовоз дремал не более сорока минут в сутки.

Курилов расторопно и тихо, как долгоногий комар-карамора, взлетел на бочку, нащупал крышку с хитрым висячим замком и один за другим принялся совать в отверстие ключи от разных автомобилей. Хитрый замок не ожидал, видно, настолько простого подхода и сдался на седьмом ключе.

С трудом Курилов отвалил крышку, тяжёлую, как люк канализации, и задохнулся. Такой повеяло небесно-лесной свежестью, что голова закружилась. Впрочем, у Курилова долго не кружилась. Он умел хорошо тормозить. Изловчился, скользнул босыми ступнями в бочку, где оказалось куда светлее, чем снаружи, и притворил за собой крышку.

Воды было по колено. Нежно касалась и ласкала грубые куриловские ноги. Он пошарил пяткой там и сям, нащупав, как и ожидал, камешки. По всем ощущениям — алмазы! Набрал воздуха и нырнул. Показалось, что очень глубоко. Дно круто уходило вниз, теряясь в голубоватой дымке. Курилов не придал этому большого значения, поскольку голова стояла на тормозе. Привычный ныряла, распутыватель лески и выдиратель крючков из подводных зацепов, он не сомневался в успехе — только воздуху ещё ухватить.

Однако выплыв на поверхность, всё же удивился. Воды по горло, и местность совсем незнакомая. Курилов поднял руки, чтобы нащупать

люк, но, увы, не дотянулся — высокая пустота над головой! А в голове — низкая. Так и побрёл незнамо куда, на цыпочках, с поднятыми руками, будто сдаваясь неведомо кому.

— Похоже, заплутал, баранки гну, — бормотал Курилов, вспоминая родную, милую автобазу. — Потерялся, верно говорю...

Ранним утром, когда Колодезников выехал на работу, кобылка Фугас как-то странно фукала и фыркала. Скорее мычала — мгну, гну! Водовозу слышались даже отдельные слова — баранки, гну, заплутал! Хотя кобылка вроде уверенно трусила по знакомым городским улицам.

Колодезников тпрукнул и строго подошёл к голове. Но та поглядела такими невинными прозрачными глазами, что совестно стало за подозрения. Навострив ухо, водовоз наконец разобрал, что мычание из бочки. Приоткрыл крышку и увидел над водой большой белый цветок с заплывшими глазками — то ли лотос, то ли кувшинку.

Конечно, это была сильно размокшая рожа Курилова, вся в корешках и травках. Да разве сразу сообразишь? Некоторые долгие секунды они глядели друг на друга. Курилову захотелось нырнуть, уплыть подальше, но вода, будто во сне, сгустилась, превращаясь в лёд, сковала.

— Шало-пня! — рывкнул водовоз и выдернул из бочки за ухо, как сорную водоросль, как чёртов орех чилим, полигонум гидропипер, если по-латыни.

Водопьяный от корешков и вершков, пошатываясь, Курилов побрёл к автобазе. Голова кружилась, и тормоза, похоже, отказали навсегда.

Пару дней он отлёживался, переводил дух, а потом взялся, как говорится, за перо. Сроду не писал, даже в школе увиливал, а тут сел за стол и аккуратно накарябал: «Заявление». Подумал, вымарал и написал честно: «Донос».

«Вода у гражданина Колодезникова поддельная. Набуробливает из подушек в бочку водород и кислород с лесной дурью. Две подушки водорода, одна кислорода — аж два о! — захлёбывался Курилов. — Дует, шепчет, улыбается и сказки воде рассказывает, баранки гну! Требую взять анализы воды, бочки, у которой ни дна, ни покрышки, а в первый черёд — самого водовоза! Тогда узнаете, верно говорю! Да и кобылу Фугаску испытайте, баранки гну, — кобыла ли она или не кобыла! А то хвостом время считает», — закончил и подписался: «Доброжелатель с автобазы».

Участковый Фёдор Чур прежде с водовозом не сталкивался — у него в доме вода текла из крана. Дел вообще-то было немного, и он живо откликнулся на донос, вызвав Колодезникова повесткой.

«Экая образина! — думал Фёдор Чур, разглядывая водовоза при ярком милицейском свете. — На человека мало похож. Обезьянья порода!» Достал из набедренной сумки блокнот, чтобы записывать показания, и начал издалека:

— Почему на выборы не ходите?

Наверное, слишком издалека, поскольку за три часа пути в блокноте не появилось ни строчки. И не то чтобы водовоз угрюмо запирался. В зеленоватых глазах читалось сочувствие и желание помочь, однако словами не подтверждалось.

— Чего ж ты молчишь, скотина?! — спрашивал Фёдор Чур, еле сдерживаясь от грубых поступков и выражений. — Молчание усугубляет!

Водовоз вдруг оскалился, как домашний пёс, понявший шутку хозяина.

— 3-3-золото! — весело взвизгнул он.

— Какое золото?! Где?! — подпрыгнул Фёдор. — Подкуп?!

С выборов, понятно, сразу поворотили на золото, но с тем же результатом. День уже заканчивался, а в блокноте появились только два имени — собственно водовоза и его кобылы, которую звали на самом деле Фуга. А Колодезникова и того страннее — Ширварли.

«Таких не бывает, — мыслил Фёдор Чур. — Кличка! — и сладко обмер. — Да он же иностранец!



Языка не знает! Шпион и диверсант! Отвлекает диким видом, а сам травит народонаселение».

— Я тебя выведу на чистую воду,— уверенно пообещал Фёдор, запирая Колодезникова в «обезьяннике».

Оставшись один, водовоз чутко огляделся, будто в новой берлоге. Принюхался, раздвинул, как заросли камыша, металлические пруты ограды и вернул на место. Кажется, ему тут понравилось. Строго и ничего лишнего. Лежанка, пол да стены. И запах вполне дикий, звериный. Одно огорчало — вода в бочке заболела. «В каком омуте зачерпнул беса?» — раздумывал вроде бы водовоз Колодезников. Всю ночь он что-то бормотал, а под утро произнёс отчётливо: «Все беды пропадут, в воду уйдут!» И задремал на сорок минут.

Впрочем, и тридцати не прошло, как разбудили. Участковый Фёдор Чур пригласил зоолога Волкодава для экспертизы.

Давно уже зоолог присматривался к водовозу, издали меряя на глазок, вдоль и поперёк, его мощный лохматый череп. И теперь был очень возбуждён, что можно вблизи и законно. Особенно интересовала мандибула, то есть челюсть водовоза. У Волкодава имелся специальный прибор мандибулометр, рассчитанный на грызунов и жвачных. Не терпелось проверить мандибулометр в настоящем деле.

Для содействия Волкодав позвал тётю Мусю, ветеринара с кошачьим уклоном. В общем, собрался маленький консилиум.

Они уселись на милицейских табуретках, привинченных к полу, и осматривали, покачи-

вая головами, водовоза. За сероватыми лохмами, как в туманном сумеречном лесу, трудно было что-либо разобрать. Только сонные глазки проступали равнодушно, будто оконца в болоте.

— А давайте-ка, коллеги, его побреем! — предложила тётя Муся, которая не терпела запущенность и меня-то заставляла стричься под полубокс раз в неделю.

— Точно! — воскликнул Фёдор Чур, тронутый словом «коллеги». — Пора прояснить личность!

Среди немногих вещественных доказательств разыскал в сейфе безопасную бритву и заостривший обмылок с бороздой от верёвки, орудия древних попыток самоубийства.

Подумал о наручниках. Но водовоз охотно, как заждавшаяся прогулки собака под ошейник, протягивал участковому башку.

Бритьё не пошло гладко. Лезвие кое-как справлялось с жёсткими волосами. Зоолог Волкодав то и дело совал пальцы, щупая череп. Да ещё и тётя Муся лезла с дурацкими советами — какие височки оставить, прямые или косые. Фёдор Чур измучался, ругая про себя милицейскую службу. Однако постепенно, хоть и с клочками волос, торчавшими там и сям, выявилось вполне лицо, похожее на человеческое.

Фёдор Чур даже развёл руками — сколько напрасных усилий! Ожидал открыть какую-нибудь особенную зверскую харю, и вот — такое разочарование. Морда как морда. Выглядел водовоз, конечно, странно, опустошённо, как дубрава после бури. Но ещё и не таких видали!

Между тем Волкодав с тётей Мусей приступили к обмерам. Зоолог диктовал, а Фёдор записывал в блокнот, не слишком понимая что.

— Кранео! — громко шептал Волкодав, прилаживая мандибулометр к голове водовоза. — Покров мозга очень велик, но соразмерен! На темени выпуклость вроде гребня!

Фёдора сразу сбил с толку кран. Спросить было неловко, и он вдруг подумал: «Может, оттуда вся поддельная вода, из этого самого крана?»

А Волкодав шептал всё громче и громче, туда-сюда бегая пальцами по скелету головы, как пианист, играющий фугу.

— Отсутствует языкоглоточный нерв! Блуждающий затерян! Зато есть три пары лишних, для неизвестных целей!

— К тому же волчья пасть, медвежье ухо и заячья губа, — вымолвила, бледнея, тётя Муся.

Когда они закончили и бритого водовоза вернули в «обезьянник», Фёдор Чур, бегло проглядев записи в блокноте, прямо спросил:

— Так он человек?

— Ан-тро-по-морф-ный! — пропела тётя Муся одно слово, как целый романс. — Подобный человеку.

— У меня дома поросёнок тоже подобный. Разве что не говорит, — хмыкнул Фёдор. — Я хочу знать, какого он роду-племени, этот черепаший.

— Ну, конечно, не из арийцев, — вздохнула тётя Муся. — Нет семи пядей во лбу! Верно, коллега?

Волкодав рассеянно кивнул:

— Да-да, всего семь сантиметров. Зато в пле-



чах семьдесят — целый аршин.

Фёдор Чур неведомо зачем обмерил себя пядью и обнаружил полное совпадение своих величин с водовозными. Провёл рукой по голове — и выпуклость, вроде гребня, на темени!

— Не из арийцев, говорите, — шмыгнул и дёрнул носом. — Попахивает расизмом!

— Да что вы! Мы только об анатомии — о теле, о плоти! — оправдывалась тётя Муся. — Кто знает, что у него в душе?!

— Похоже, потёмки, — ухмыльнулся, оскалившись, Фёдор. — Ну, не людоед — и ладно. Нет состава преступления — надо выпускать.

Тётя Муся насупилась, как девочка, лишённая половины эскимо.

— Я бы ещё пообследовала...

Но участковый Фёдор Чур уже вышел из кабинета.

— Все люди — братья! — сказал он Колодезникову. — Старшие и младшие. Иди отсюда, упрямый водовоз, да найди стоящее дело. От воды навару негусто!

Водовоз Колодезников пошёл домой, поёживаясь на ветру, — такой был бритый, как свежий спил бревна, только что годовых колец не заметно. Прежде всего глянул в бочку и увидел голое отражение, как кувшинку на воде. Нырнул и был таков — только его и видели!

Да нет! Это, конечно, для красного словца. На самом-то деле так и возит по сию пору воду в бочке. Снова оброс, как старый пень мхом, и не бреется. Годы отмеряет водами. По-прежнему малоразговорчив. Зато стал мягче, даже нежнее. Будто не снежный уже человек,

а водяной.

Вода в бочке выздоровела и других лечит. В наш городишко приезжают специально на воды Колодезников.

Даже Курилов с автобазы, наглотавшись той ночью, изобрёл ни с того ни с сего универсальный ключ, который, правда, ничего не открывает и не закрывает. Это такой ключ — сам по себе. Из него что-то струится, подтекает, а временами и бьёт, как из хорошего фонтана.

Старшеклассник Николай Подкорытин поступил в столичный университет и через год окончил.

— Отчего ты так умён? — спрашивали профессора.

— У нас вода такая! — отвечал усатый и бородатый. — Гидрохено, оксигено и, конечно, водовоз Колодезников.

А откуда этот водовоз, какого племени или породы, снежный он человек или водяной, почему, в конце-то концов, Ширварли — не знаю, разрази меня гром! Да потому же, наверное, почему и «дропка». Пейте из его бочки, радуйтесь, голову не морочьте, и концы в живую воду.

ЧЕЛОВЕК- ВОЛНА

Повесть на чешуе японского карпа,
с его же примечаниями



огда-то давным-давно божественная пара Идзанаги и Идзанами сотворила Японские острова — четыре больших и девятьсот мелких. И вот через какое-то время, равное, возможно, одному вдоху и выдоху великой богини Аматаэрасу, сияющей в небе, на юге острова Хонсю в долине Ямато, что сыздавна считалась центром Вселенной, родился мальчик.

Это произошло у берегов небольшого пруда, в доме на сваях под черепичной крышей, на рассвете августовского дня поминовения усопших, в очередной год Дракона, иначе говоря, в 1520 году по принятому сейчас летоисчислению.

Красное солнце, поднявшись над океаном, выглядывало уже из-за гряды невысоких зелёных холмов, и это было первое, что увидел новорождённый. Может быть, именно потому он не закричал и не заплакал, как все только что явившиеся на этот свет, а глядел молча, словно потрясённый, и, кажется, улыбался.

Говорят, при рождении ребёнка является ангел и шлёпает ладонью по устам, отчего память о прежней жизни пропадает, улетучивается, как утренний туман. Однако в этом случае у ангела, вероятно, рука не поднялась — так улыбался мальчик, глядя на восходящее солнце.

— Ой, какой толстенький, — удивилась его юная, совсем девочка с виду, мама Тосико, приподнявшись с матраца футона. — Но какой маленький! Как наша кошка Микэшка!

Да, мальчик был едва ли за тридцать сантиметров, то есть немногим более одного сяку.

Его отец, суровый самурай Ясукути, который и дома не снимал с пояса два меча, радостно воскликнул:

— Сын! Какое счастье! Так и назовём его — Сяку! Хорошо звучит! Это сейчас он не выше короткого меча, но, уверен, вырастет ровно в шесть раз! Вот такой будет воин, ростом в кэн, как мой боевой лук, — поднял мальчика над головой. — Похоже, он родился в железной рубашке, наш Сяку Кэн! Кто бы ещё улыбался, появившись на свет в такие дни?

А дни и впрямь были невесёлые — эпоха воюющих провинций, война всех против всех. Она началась сорок два года назад, и конца ей не было видно.

Когда рождается ребёнок, знает ли он уже, чувствует ли, что вокруг него, — мир или война, беды или благоденствие? Или он ещё весь в воспоминаниях о прошлой жизни? Или старается припомнить, что же было между двумя — прошедшей и новой, в которую только-только вошёл?

Получив так скоро имя Сяку Кэн, мальчик, видно, глубоко задумался, примеряя его к себе так и этак, и вскоре тихо заснул, утомлённый первыми впечатлениями.

А папа Ясукиги закопал перед входом в дом родовой послед, которым ребёнок связан с матерью в её утробе. Чем больше топтать над ним землю, тем здоровее вырастет Сяку Кэн.



СЕМЬЯ САМУРАЯ

огда маленькому Сяку Кэну подарили два деревянных меча, он уже хорошо знал, кто такие самураи. Сяку Кэн начинал понимать, что у него в жизни одна дорога, — бусидо, то есть путь воина. Папа Ясукити давно идёт по этому пути. И дома-то редко бывает в пору войны всех против всех — только когда привозит рисовый паёк от своего господина князя Фарунаги. Значит, и Сяку Кэн пойдёт следом. Ведь он наследник всего отцовского состояния и верный слуга князя.

— Появиться в этом мире — уже счастье, — говорил папа, поглаживая перевитую шёлковыми тесёмками рукоять длинного меча. — А родиться в семье самурая — счастье вдвойне, потому что ты выше всех прочих: крестьян, ремесленников или купцов, которым даже не позволено носить оружие.

Утром он подзывал Сяку Кэна к гудящему от натянутой тетивы бамбуковому луку, чтобы померить, насколько подрос сын.

— Ты сегодня летал во сне? — строго спрашивал папа. — А как высоко? Знаешь ли, на высоте жить непросто, потому что все на тебя смотрят. Высота самурая — это доблесть и честь. А также три добродетели — верность, чувство долга и храбрость.

Примерно так говорил папа Ясукити и, конечно, следовало доверять его словам. Сяку Кэн глядел на него с восторгом, как на восходящее солнце. Когда папа доставал из небольшого дорожного сундучка боевые доспехи, то на глазах превращался в сияющее металлом божество, слегка напоминавшее то ли крылатого майско-

го жука, то ли рогатого дракона. А когда надевал страшную кожаную маску, Сяку Кэн быстро хватал его за руку, пока ещё без перчатки, чтобы убедиться, папа ли это, — может, и вправду какой-то свирепый дух войны. Ладонь была тёплой, но твёрдой, как бамбук.

Однако больше всего Сяку Кэн любил наблюдать, как, вернувшись домой, воин разоблачается, — снимает широкополый шлем, чешуйчатые наплечники и нагрудник, становясь прежним папой Ясукиги, с выбритой ото лба до макушки головой и загнутой вперёд косичкой.

— Запомни, обладающий лишь грубой силой недостоин звания самурая, — говорил он, ужиная рисом с овощами. — Для самурая нет ничего отвратительней, чем коварные сделки и лживые отношения. Порядочность и справедливость — вот наше знамя.

Папа и без доспехов оставался настоящим самураем. А со своими двумя мечами расставался, только укладываясь спать. Устанавливал их в деревянной узорчатой стойке и шептал что-то — наверное, желал им спокойной ночи. И сам лежал во сне тихо, как меч в ножнах. Разве что глаза шевелились под веками.

— Что они видят? — спрашивал Сяку Кэн маму Тосико.

— Наверное, сражения — прошедшие и будущие, — вздыхала мама и потихоньку рассказывала истории из самурайской жизни. О том, как много веков назад отряды воинов-буси сражались с племенами эдзо на севере и с племенами айнов на юге. Как отбивали нападения пиратов на побережье залива и набеги разбойников, по-

являвшихся из густых предгорных лесов. Уходя на бой, говорила мама, воин всегда заверял своего господина: «Служа тебе, готов я расстаться с жизнью. Легче пуха она для меня!»

Слушая о войне Гэмпэй, что шла когда-то между домами Тайра и Минамото, Сяку Кэн сжимал в обеих руках деревянные мечи, представляя, как и он, не страшась смерти, бросается в самую гущу схватки, коля и рубя направо и налево.

Он полюбил великого полководца, иначе говоря, сёгуна, Ёритимо Минамото, основавшего государство самураев. Его военная династия правила почти сто пятьдесят лет. До тех пор, пока новый сильный род Асикага не захватил столицу. Тогда последний сёгун из дома Минамото торжественно совершил харакири, а вместе с ним и ещё восемьсот преданных самураев пронзили себя короткими мечами.

Обосновавшись в столице, воины Асикаги уже давно погрязли в роскоши и безделье. Они позабыли о чести самурая. Изменяли своим князьям, которым клялись в верности, убивали ради наживы. Прежние друзья становились врагами. Так и началась бесконечная война всех против всех.

Сяку Кэну не нравилось само имя — Асикага. Что-то подлое слышалось в нём. Как будто именно ему принадлежали слова, что рисовая лепёшка важнее цветка сакуры. Однажды после маминих рассказов Сяку Кэн дёрнул за хвост кошку Микэшу, вообразив, что это самурай из рода Асикага. Кошка зашипела, как вода на углях, и, выпустив когти, ударила лапой, так что



на руке выступили кровавые царапины, а из глаз сами собой брызнули слёзы.

Мама очень разгневалась — Сяку Кэн впервые видел её такой грозной.

— Неужели мой сынишка плачет? — бушевала она, как свирепый лесной дух якши. — А вдруг тебе отрубят руку в битве? Или, избегая плена, придётся совершить харакири?! Уж коли родился самураем, стыдись слёз!

Сяку Кэн всхлипнул последний раз, и больше никто и никогда не видел, чтобы глаза его увлажнились.

Он знал, что родители заботятся о нём и стараются как можно лучше подготовить к суровой взрослой жизни. Родители — ствол дерева, а дети — ветви, которые оберегают и почитают ствол. У каждого хорошего человека есть гири, и не то чтобы слишком тяжёлые. По-японски «гири» — это долг перед родителями. Сяку Кэн навсегда запомнил рассказ о том, как один мальчик в зимнюю стужу растапливал речной лёд теплом своего тела, чтобы затем поймать для матери рыбу. А другой летними ночами спал голым, отвлекая москитов от родителей.

Сяку Кэна будили затемно. Часто оставляли играть в нетопленной комнате и надолго лишали еды. И это не было наказанием за шалости — уж так заведено в семье самурая: самая маленькая веточка должна быть терпеливой и выносливой, переносить холод и засуху.

— Сокол не подбирает брошенные зёрна, даже если умирает с голоду, — говорил папа Ясукити. — Так и самурай должен показывать, что сыт, хоть и не ел два дня.

Не раз по велению отца Сяку Кэн для укрепления отваги отправлялся глубокой ночью на кладбище. Впрочем, для него это не было серьёзным испытанием: покойники тихо лежат под землёй — эка невидаль! А злых духов и нечистой силы Сяку Кэн не боялся — он не верил в них и в прошлой своей жизни.

Другое дело, когда папа посылал его на места казней, где валялись в пыли и крови лохматые головы преступников. Сердце билось, как пойманная в силки перепёлка, и в груди становилось студёно. Однако Сяку Кэн утихомиривал сердце и оно постепенно успокаивалось, будто море после шторма, — лишь редкие волны набегали, лёгкие и недолговечные: была волна — и вот уже нет.

Каждый год в пятый день пятого месяца по лунному календарю отмечали праздник мальчиков. По всему дому раздвигали стенки сёдзи, расписанные пейзажами, и выставляли кукол, одетых в самурайские доспехи, а вокруг — мечи, луки, стрелы, знамёна. Играть ими не разрешалось, но и просто смотреть было одно наслаждение. Перед Сяку Кэном, как стенка дома, отодвигалась некая завеса, и чётче проступало его будущее, сверкающее, как меч, и всё же едва уловимое, как полёт оперённой стрелы.

Вскоре подошло время идти в школу при буддийском монастыре, где учили читать, писать и считать на счётах соробане. Но главное — владеть своим духом и телом. Дух и тело настоящего самурая страшнее для врага, чем меч или пика! Будущие самураи обучались плаванию и верховой езде. Преодолевали глубокие пропасти,

используя вместо моста лианы. Со связанными руками и ногами перебирались через стремительные горные реки.

«Настоящий самурай, — втолковывали учителя, — спокоен, как лес! Неподвижен, как гора! Холоден, как туман! Быстр, как ветер, в принятии решений! И яростен в атаке, как огонь! Только тогда его примут в сообщество воинов-буси!»

Сяку Кэну всё это было очень интересно. Да вот какое дело — он очень изменился за последнее время! До того, что ни малейшего желания стать воином в себе не ощущал. И, добираясь от дома до монастыря, часто размышлял: почему так?



А дорога была неблизкой. Сначала мимо обсаженного плакучими ивами пруда, в котором никогда не иссякала вода, не было ни лягушек, ни водорослей, зато кишели отборные карпы — самураи среди рыбьего племени, упорные и бесстрашные. К ним относились с почтением, потому что видели в них мужественную добродетель. Карп из цветной ткани колыбался на бамбуковом шесте над каждым домом, где жил мальчик самурайского сословия. У Сяку Кэна был даже один знакомый карп по имени Сёму, названный так в честь старинного императора. Он важно выглядывал из пруда, тарашил глаза и беззвучно шевелил губами, желая доброго пути.

Дальше дорога поднималась на холмы и через светлую бамбуковую рощу уходила в густую тень стройных вечнозелёных криптомерий, пихт и кипарисовиков. Под ними было необычайно тихо. Опавшая хвоя заглушала шаги. Из полумрака на лесную тропу с тайным участием

в камённых глазах то и дело выглядывали древние изваяния Будды. Наконец становился слышен соловьиный водопад. Особенно зимой, когда камни покрывались тонкой наледью, звук падающих на них струй напоминал звонкие соловьиные трели. Вслед за этим показывались красные пагоды монастыря. Весной его стены лёгкой дымкой окутывали цветы сакуры. А осенью алел клён и зацветала индийская сирень.

Сяку Кэн вместе с другими учениками из монастырской школы не раз пытался взобраться по стволу сирени, но напрасно — настолько он гладкий и скользкий, даже обезьяне не одолеть. Один лишь приятель Ушиваки, всем на зависть, залезал на самую макушку.

В ранний час Зайца, ещё до восхода солнца, провожая сына в школу, мама Тосико первая выходила из дому, высекала огонь и бросала щепотку соли на землю, чтобы отогнать злых духов.

— Сяку Кэн-тян, не забыл ли ты взять с собой Дзидзо? — спрашивала она.

Это была небольшая деревянная фигурка защитника малолетних и покровителя путешественников. Дзидзо всегда заботился о Сяку Кэне. И на кладбище, и на месте казней. Мама это знала, но всё равно долго глядела вслед, куда ещё виднелась круглая голова сына с длинными прядями волос, связанных на макушке. Они колебались в такт шагам, и казалось издали, будто маленькая райская птичка взмахивает крыльями, одиноко порхая над пустынной дорогой.

ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ

монастырь входили через Большие южные ворота. Гулко стучали деревянные сандалии гэта по мощёной дорожке, вдоль которой стояли каменные фонари. Вечером в них зажигали свечи и фонари напоминали толстых светлоголовых карликов.

Чтобы пройти к Залу мечтаний, где с учениками занимался бритый и толстый монах-бонза, надо было миновать высоченную пятиярусную пагоду, украшенную позолоченными хвостами огромных рыб. Сяку Кэн знал, что каждый ярус обозначает одно из пяти веществ, составляющих окружающий мир: дерево, огонь, землю, железо и воду. Кроме того, есть две могущественных силы, Инь и Ян, которые, сталкиваясь, дают всему движение и жизнь, — об этом тысячи лет назад говорил Будда.

А вот и он сам, пришедший с запада, сидит, скрестив ноги, на троне-лотосе. Будду не беспокоят мирские тревоги и заботы. Жестом правой руки он призывает: не надо бояться, смерть не страшна — душа человека вновь и вновь приходит в этот мир, чтобы стать лучше, освободиться и уйти, наконец, в Чистую землю, где нет никаких страданий. Гигантский бронзовый Будда просветлён и спокоен, как карпов пруд и бамбуковая роща. Глаз мудрости во лбу больше человеческой головы. Палец на руке длиннее папиного лука. А ноздри как пещеры.

Однажды приятель Ушиваки каким-то непостижимым образом взобрался наверх, спрятался в ноздре да и заснул. Долго его искали, пока не услышали, как похрапывает Будда.

— Нама Амида буцу! — воскликнули бонзы, преклонив колена и ударив в медные гонги. — О, Будда Амида!

Ушиваки пробудился, но спуститься не мог — то голову свешивал из ноздри, то ноги. Пришлось монахам составлять две лестницы, чтобы достать его.

С тех пор Ушиваки только так и называли — Ноздря. Впрочем, он не обижался. У самого Ушиваки ноздри были хоть куда! Он запросто мог засунуть в одну целых три пальца.

— Не то чтобы я не мог спуститься, а просто Будда меня не отпускал, — рассказывал Ушиваки. — Когда я там спал, то понял, что всё в нашем мире едино. А сам Будда Амида — это бесконечный свет и бесконечная жизнь. Всякий, кто верит в него и исполняет заветы, после смерти возродится в Чистой земле, где вечное блаженство. Моя мама давно дожидается там меня и моих братьев.

Они возвращались из школы. Уже взошла луна и наполнила лес серебристым сиянием. Лесные духи якши шуршали в кустах и папоротниках. Сяку Кэн взглянул на луну и сказал:

— Там побывали люди.

— Конечно, — ответил Ноздря. — Думаю, именно там находится Чистая земля.

— Эх, совсем не в этом дело! — огорчился Сяку Кэн. — Я точно вижу, как они прилетели туда на железном корабле, толкаемые огнём. Немножко побродили и вернулись обратно на Землю.

— Вот это вздор! — воскликнул Ноздря. — Железный корабль не только летать, но и пла-

вать не сможет. Сказал бы — деревянный!

Они как раз вошли в прозрачную бамбуковую рощу, шелестевшую под лёгким ветерком. Казалось, она парит в небе. И два оленя, едва перебирая ногами, бесшумно летели среди тонких стволов. Ноздря опустил перед ними на колени. Он всегда поклонялся им, потому что олени — родственники белого единорога, украшавшего фамильный герб семьи Ушиваки.

Всё было как во сне.

И Сяку Кэн вдруг ясно увидел за рощей огромный город, где дома намного выше пятиярусной пагоды, цветные многоместные повозки стремительно мчатся по гладким, как стальные мечи, улицам, а под ними — глубокие, залитые дневным светом пещеры, в которых спуют туда-сюда, свистя и грохоча, длиннющие кареты, и множество людей повсюду.

«Неужели это Чистая земля, куда мы попадём после смерти?!» — подумал Сяку Кэн. И невольно заговорил на языке того города, как на родном, отчего Ноздря, засунув в нос всю пятерню, буквально остолбенел.

Да и как тут было не напугаться, когда приятель Сяку Кэн бормочет что-то вроде заклинаний, будто настоящий колдун? К тому же на берегу карпова пруда сидит лиса с таким задумчивым видом, словно собралась рыбу ловить, а удочку забыла. А кто не знает о лисьих чарах? Лисий дух запросто вселяется в человека, делая его одержимым, если не совсем безумным.

— Прочь! — заорал Ноздря. — Изыди!

Всё вокруг встрепенулось, вздрогнуло, изменившись. Лиса подскочила и засемила по бере-

гу пруда, замечая хвостом следы.

Очнулся от своих видений и Сяку Кэн. Но только на время. Они приходили теперь вновь и вновь, становясь всё отчётливей. И Сяку Кэн в конце концов понял, что когда-то жил в том огромном городе,— в другой стране и в другом времени. Всё больше и больше припоминал он о своей прежней жизни, что не так уж и удивительно: ведь ангел при рождении не шлёпнул его по устам, не отнял память.



Папа с мамой не знали что и делать, слушая Сяку Кэна. Он каждый день вспоминал что-нибудь новенькое. То про какой-то ящикек, в котором якобы мелькают картинки жизни, то про огромное вращающееся колесо с люльками, куда люди садятся, чтобы просто так полюбоваться с высоты окружающими видами. Он рассказывал о жутких битвах, когда летающее железо и падающий огонь пожирают всё, что встаёт на их пути. В сравнении с теми сражениями нынешняя война всех против всех — сушие пустяки, детская забава!

— Выброси эти глупости из головы! — сердился поначалу папа. — Ты не знаешь, что будет завтра, поэтому и выдумываешь то, чего никогда не может быть.

— Это будет, — утешал Сяку Кэн, — но потом! Ещё не скоро! Я когда-то читал об этом.

— В него вселилась лиса, — запечалилась мама.

— Точно — лисье наваждение, — вздыхал папа Ясукити и тушью писал на бумаге заклинания.

Сяку Кэна даже поили кровью барсука, чтобы напугать лису. Однако ничего не помогало.

Особенно огорчались родители, когда их мальчик начинал говорить на каком-то неизвестном тарабарском языке.

— Остаётся призвать ямабуси, — сказала мама. — Только он сможет изгнать лису.

В ту пору в горах Ёсино жило много отшельников, проводивших дни и ночи в молитвах. Их называли ямабуси, то есть спящие в горах. Они и наяву были как во сне, но видели и знали такое, что другим людям и не снилось. Ямабуси умели

вызывать во время засухи дожди или, наоборот, выпроваживали грозы; успокаивали землю при закладке новых домов или храмов, исцеляли от болезней, изгоняли злых духов. Обычно ямабуси являлся со своей женой, шаманкой и прорицательницей мико. Вместе им всё было по силам.

Как-то вечером Сяку Кэн услышал необычный звук, будто хрипловато кричала редкая морская птица, залетевшая вдруг в долину Ямато, или неведомый подводный зверь — предвестник землетрясений и цунами. Выскочив на улицу, он увидел в наступивших сумерках лохматое светлое облачко, укрытое широкополой шляпой. Оно медленно спускалось с холмов, постукивая посохом.

— Ах, наконец-то! — воскликнула мама. — Спящий в горах!

Сяку Кэн разглядел наконец длинноволосого человека в белой одежде. Шаровары до колен, гамаши и носки с одним пальцем. На груди у него висела большая раковина, а за спиной были приторочены две деревянные коробки. Следом поспевала маленькая, как овца, шаманка с рогожным ковриком под мышкой.

Войдя в дом, они принялись распаковывать коробки — достали столбики, украшенные бумажными ленточками с письменами, чётки, жаровню, веер и пучки сухой, остро пахнущей травы.

Ямабуси снял соломенную шляпу, под которой оказалась маленькая, вроде плоской чёрной шкатулки, шапочка токин, удерживаемая на голове лишь длинными тесёмками, связанными за ушами. Возложил на плечи узкие полоски

красной парчи с кисточками. Расстелил рогожу и усадил посередке свою спутницу-шаманку, окружив её столбиками. Всё происходило в полной тишине. Лишь кошка Микэшка шипела из угла, выгибая спину: что-то её настораживало в этих пришельцах.

Ямабуси развёл огонь в жаровне; бормоча заклинания, подбросил траву и корешки, отчего всё тут же, меняя очертания, окуталось густым дурманящим дымом. Сяку Кэну казалось, что шаманка приподнялась над рогожным ковриком и парит в дыму, как паутинка, — то выше, то ниже, то вовсе растворяясь и пропадая. Взмахивая посохом по сторонам света, спящий в горах так дико гудел в раковину, что и мёртвые бы пробудились. Однако живых, как ни странно, клонило ко сну. Мама с папой клевали носами. Да и сам Сяку Кэн будто плыл в немыслимые дали, за сотни лет, туда, где жил когда-то. Впрочем, кто бы сказал определённо, сон это или странная явь?

И вот голубой дракон появился с востока. С запада одним прыжком — белый тигр. Немыслимой красоты птица феникс прилетела с юга. А с севера приползли черепаха со змеей. В доме стало так тесно — не повернуться! Шаманка мико, перебирая ленточки на столбиках и поглаживая животных, затянула тонким голосом песню, понятную одному Сяку Кэну: «Не слышны в саду даже шорохи»!

Допев до конца, ослабела и прилегла на рогожку. Дым рассеялся. Животные удалились на все четыре стороны, пригласив с собой кошку Микэшку — просто так, прогуляться да на мир поглядеть. Ямабуси ударил посохом в пол,

снял чёрную шапочку и, уставившись в неё, как в книжку или в волшебное зеркальце, сказал:

— Тут дело не в лисах! И нечистым духом здесь не пахнет! Просто этот мальчик, прежде чем родиться среди нас, жил слишком далеко. Если говорить точнее, в тридцати шести годах Дракона от нашего времени — в будущем, куда едва заглянешь. Именно там прошла его прежняя жизнь. За нашим морем и чужими горами, в той стороне, где белый тигр соседствует с черепахой и змеей.

Может, в какой-нибудь другой семье, в другие времена ямабуси не поверили бы и вытолкали взащей вместе с маленькой шаманкой. Но папа Ясукити и мама Тосико были счастливы, что всё так просто разрешилось, что их сынок не одержим лисой, не спятил и не заболел. Это даже хорошо, что он имеет за плечами опыт прежней жизни, — может, сгодится на какую-нибудь нужду.

Отшельника, которого, как выяснилось, звали Энно, и шаманку мико, которой не полагалось открывать своего имени, потчевали сладкой бататовой кашей. За трапезой ямабуси рассказывал чудесную историю о говорящем карпе. Мол, поймать его едва ли возможно, настолько он умен. На каждой его чешуйке иероглифы, повествующие о Японии, от древности до наших дней. Сяку Кэн сразу вспомнил о знакомом карпе Сёму, но спросить напрямик постеснялся. В конце-то концов, мало ли на свете прудов с карпами.

На прощание папа подарил ямабуси Энно новый топорик, так необходимый спящему в горах. А мама преподнесла безымянной шаманке черепаший гребень и веер с видами гор Ёсино.

Когда они отдохнули и, собрав свой скарб, готовы были двинуться в серый предрассветный путь, ямабуси Энно склонил лохматую голову и шепнул Сяку Кэну:

— Знай, ты тоже спящий в горах. Ты дремлющая волна, которая ещё наберёт силу, чтобы разбиться о берег. Тогда мы с тобой увидимся и поговорим об императоре Сёму.

Сяку Кэн так устал за долгую ночь, что не мог поручиться, слышал он эти слова или они ему приснились. Впрочем, настоящий отшельник ямабуси может разговаривать с тобой, когда пожелает, — неважно, спишь ты или бодрствуешь.

— Но сначала тебе суждено побывать в стране крылатых тенгу! — услышал Сяку Кэн напоследок, будто дуновение веера над ухом.



Познав о прежней жизни Сяку Кэна, все соседи, приятели и даже монастырские монахи расспрашивали его о далёком будущем. Всем хотелось верить, что спустя тридцать шесть лет Дракона настанет время Чистой земли, где каждый будет жить в мире и покое. Однако Сяку Кэн рассказывал либо такое, о чём многие уже знали или догадывались (к примеру, что за морями и океанами есть множество других стран), либо такое, чего никак не могли взять в толк: ну, спрашивается, к чему нужна такая штука, как зубная щётка, да ещё самодвижущаяся?! Совершенная чушь!

Сбивчиво и туманно пытался Сяку Кэн сообщить об устройстве Вселенной, об электричестве и открытиях великих мужей, которые и объяснить-то не мог, об ужасных войнах, о гибели миллионов, об огромных фабриках, заводах и тюрьмах, о жизни стремительной, как полёт стрелы, когда не успеваешь и подумать, зачем она. Нет-нет, там, в будущем, и не пахло Чистой землёй! Иные просто затыкали уши и отворачивались от Сяку Кэна, будто он явился из преисподней.

Впрочем, как это ни странно, для него самого та жизнь протекла точно одна безмятежная секунда, вдали от бед и потрясений, спокойная и тихая, словно карпов пруд в полнолуние, — будто он только слышал о ней из чужих уст, читал про неё в газетах и книгах, а сам был где-то в стороне. Он не мог припомнить ни одного своего поступка, достойного более или менее интересного рассказа.

Ну, учился. Долго учился. Потом служил чиновником в какой-то местной управе. Что-то

покупал для дома. Ах, всю жизнь покупал и покупал — очень много вещей! Сейчас даже представить невозможно — зачем столько?! От этих вещей какая-то путаница в голове, настолько они всё заслонили и захлестили. Была ли у него семья — жена и дети? Вроде бы да, но запомнились плохо. Кажется, имелась любимая кошка, похожая на Микэшку. Одно было очевидно — Сяку Кэн в своей новой жизни, во время войны всех против всех, ощущал себя чрезвычайно мирным человеком. Вид самурайского меча или копья, которыми так легко искромсать и сокрушить любое создание божье, вызывал в нём отвращение. И тут не смогла бы помочь и дюжина отшельников ямабуси: если уж поселилась в тебе такая хитрая лиса, её никакими заклинаниями не изгонишь, — только ты сам способен совладать с ней.



До чего горько было папе Ясукити замечать в своём наследнике неприязнь к самурайскому делу!

— У нас с тобой родился соловей, который не знает ни одной военной песни, — жаловался он маме Тосико. — Петух без шпор и клюва! Ума не приложу, что нам делать!

Посоветовавшись, родители решили поклониться князю Фарунаге, чтобы принял их сына в школу боевых искусств при его дворе. Возможно, там Сяку Кэн проникнется наконец духом бусидо. Конечно, крупницы духа, эдакие маленькие пузырьки, в нём и сейчас есть. Вот, например, благожелательность, вежливость и чувство сострадания. Этого у него не отнять!

Но ведь главное — желание сражаться и умереть за своего господина! Быть верным до конца. Вот основа основ, хребет, без которого нет истинного самурая.

— В той школе прекрасные учителя, — говорил папа. — Один только знаменитый Фукаи чего стоит! Он в совершенстве владеет искусством кэндзюцу — мечи в его руках подобны стремительно жалящим змеям. Он может сражаться с двадцатью противниками сразу и всех побеждает. С ним ты быстрее будешь расти. До полного кэна тебе, заметь, не хватает ещё целого сяку.

Сяку Кэн тяжело вздохнул. Ему так не хотелось оставлять родной дом, расставаться с приятелем Ушиваки по кличке Ноздря, с огромным бронзовым Буддой, с бритыми бонзами, с бамбуковой рощей и прудом, где жил знакомый карп Сёму. Да что делать — послушаться он не мог.

— А о прошлой жизни позабудь раз и навсегда, потому что лучше самурайской быть не может! — сурово сказал папа Ясукити. — Только война может выковать настоящий характер. Война, сынок, основа всех высших добродетелей. Народы крепнут в войне и чахнут во время мира! Так говорит наш господин Фарунага.

Мама Тосико собрала их в дорогу и проводила до колодца. «Возвращайтесь скорее, — говорила она про себя. — А я буду ждать и оберегать наш дом — от злых людей и назойливых духов».

По дороге в замок князя папа был весел как никогда. Он рассказывал Сяку Кэну смешные истории из своего детства, передразнивал кукушку; попытался было догнать зайца, а вернулся, прыгая на четвереньках, и спросил, скосив глаза, не встречался ли тут страшный мужик, который его, бедного зайчишку, едва не ухватил за уши.

Они ехали на лошади по старинной дороге, соединявшей долину Ямато с Осацкой бухтой, откуда шёл прямой морской путь до самой Кореи. По обеим сторонам лежали зелёные поля. Виднелись кое-где крестьянские хижинки — полуземлянки, крытые тростником или соломой. Мирно стрекотали цикады. Тихонько пел жаворонок. Сияло небо, да и вообще всё вокруг сияло, начиная с самого Сяку Кэна. Ему казалось, что он уже видел и чувствовал подобное. Наверное, в прежней жизни. Счастливые минуты похожи, пусть даже их разделяют тысячи лет.

На груди у Сяку Кэна на красной ленточке пританцовывал дух-охранитель Дзидзо — ему, видно, тоже было весело. Когда они въехали в лес

и лошадь на миг сбилась с шага, перескакивая выпершие из земли древесные корни, он подпрыгнул до самого уха и отчётливо шепнул: «Скорее оглянись! Ты должен встретиться с ним глазами!» Сяку Кэн обернулся и различил среди тёмных стволов и прозрачных столбов солнечного света странного пузатого человека в жёлтом кимоно, с большой редькой в левой руке и невероятно длинным носом, выступавшим даже из-под раскрытого красного зонтика. Вот он отодвинул зонтик, и стало понятно, что голова у него слоновья. С хоботом и вполне лопухая, какая и полагается всякому нормальному слону. Он закусил редькой, зажмурился от удовольствия, а потом поглядел прямо в глаза Сяку Кэна.

О, каким тёплым и ясным был этот взгляд, наполненный участием и любовью! Он длился какое-то мгновение, после чего существо, прикрывшись зонтиком, растворилось в лесу.

«Это Ганеша! — сказал деревянный Дзидзо. — Божество любви, мудрости и устранитель препятствий! Тебе повезло — редко кому он является и заглядывает в глаза».

Сяку Кэну стало так хорошо, что захотелось приласкать каждую травинку, каждого жучка и паучка. Об одном он жалел — папа ничего не заметил, не обменялся взглядом с Ганешой. Может, на обратном пути ему повезёт?

Они переправились вброд через мелкую, но стремительную речку и оказались у стены, сложенной из громадных валунов. Как раз наступил полдень. Рабочий день служащих в крепости самураев закончился. Под глухие удары барабана отворились ворота.

Во дворе было шумно и суетно. Множество построек: конюшня, кузница, кухня, дома слуг, советников и приближённых к князю самураев — прочие, рядовые, расселялись со своими семьями вокруг крепости или в деревнях поодаль, как папа Ясуки. В мирное время они собирали налоги с крестьян, подыскивали строительных рабочих для возведения мостов или укреплений, управляли поместьями или товарными складами, за что и получали жалованье от князя. Ну а во время войны выступали вместе с остальными самураями в походы — близкие и дальние — против других князей. Куда прикажет господин даймё, туда и направляли свои мечи, копыя и луки. «Даймё» означает «великое имя». И каждый воин-буси обязан оберегать и возвеличивать имя своего господина.

Сяку Кэн тем временем разглядывал тенистый сад на берегу пруда, где находились вольтеры с диковинными птицами и животными, которых держали для развлечения гостей. Но особенно выделялся на крепостном дворе дом господина Фарунаги, слегка напоминавший многоэтажный бисквитный торт. Пожалуй, он был лишь немногим меньше пагоды буддийского монастыря, зато куда пышнее.

Перед домом на площадке собрались юные самураи, только что закончившие здешнюю школу боевых искусств. Хотя им было по пятнадцать лет, они казались Сяку Кэну совсем взрослыми. Теперь они принимали новые, воинские, имена, оставляя в прошлом детские, из которых выросли, как из первых своих кимоно. Им сооружали мужскую причёску — выбривали волосы со лба

до макушки, а на затылке заплетали косичку-магэ. Пропитав её особой помадой, укладывали на голове кончиком вперёд. Странный, конечно, вид! Хотя, наверное, и в этой причёске был какой-то потаённый смысл, доступный настоящему самураю. Затем на преклонённые головы водружали остроконечные, вроде воронки, шапочки камури. Их следовало носить только во время особенно торжественных событий — вот как сейчас, когда молодые самураи принимали клятву воина: «В любое время и везде мой долг



обязывает меня охранять интересы моего владыки. Этот долг — позвоночник нашей неизменной и вечной религии бусидо».

— Клятва-то одна, а чести на всех не поровну,— заметил папа Ясукити.— У кого тяжёлый мешок, а у кого пыль на дне кармана.

Наконец, под завывание труб и барабанный бой, знаменитый учитель Фукаи вручил каждому два меча, длинный и короткий,— знаки нового сана.

О, меч — душа самурая! Меч для воина-буси — и отец, и ребёнок, и брат, и жена. Только хозяин знает сокровенное имя своего меча. Самурай расстанется с ним лишь тогда, когда душа покинет тело.

— Это церемония гэмпуку,— тихо сказал папа Ясукити.— Настанет день, тебя посвятят в самураи и я буду счастлив. Но знаешь ли, сынок, меч самурая — живое существо. Я чувствую, когда мой меч печалится, а когда распевает весёлые песни. У него нелёгкий характер. Он нехотя, с трудом выходит из ножен. Сознаюсь, я не погубил ни одного человека. Я отпускал тех, кому следовало бы отрубить голову, потому что ненавижу убийство. Пусть лучше заколют меня, чем я лишу кого-то жизни. И меч мой согласен со мной.

Сяку Кэн понял, почему родился в семье самурая Ясукити. Он заглянул папе в глаза, стараясь передать ему всю любовь к этому миру, прошлому, будущему и настоящему, полученную недавно от Ганеши. И впервые заметил, что у его сурового с виду отца глаза тёплые и ясные, не хуже слоновьих.



СЕМНАДЦАТЬ УДАРОВ МЕЧА

еремония гэмпуку закончилась.

Дождаясь, куда господин Фарунага соизволит принять их, Сяку Кэн истомился. Ёрзал, вертелся, порываясь к вольерам со зверями и птицами, которые манили сладкими голосами. На миг ему показалось, что среди пятнистых оленей мелькнул красный зонтик и толстый живот Ганеши. Но тут к ним подошёл отец Ноздри, старый самурай по имени Дзензабуро. Он был хром и кос. А на лице столько шрамов, похожих на иероглифы, что из них легко складывалось какое-нибудь пятистишие, вроде:

Ни раем, ни адом
меня уже не смутить.
И в лунном сиянье
Стою непоколебим —
Ни облачка на душе...

Ходили слухи, что в своё время он выдержал бой с тридцатью воинами из рода Асикаги. Причём одним ударом меча смахивал сразу по две, а то и по три вражеских головы. Приятель Ноздря долго отрабатывал этот удар на кочанах капусты, уничтожив как-то деревянным мечом целую грядку. Тогда ему здорово влетело от старших братьев — Сакона и Наики.

Дзензабуро был в парадном наряде. На его накидке хаори красовались пять фамильных гербов — белые единороги, символы справедливости. Он подмигнул Сяку Кэну и завёл дружескую беседу с папой Ясукити.

Краем уха Сяку Кэн слышал, как старый самурай дурно отзывался о князе.

— Награбленное богатство вскружило его слабую голову,— говорил Дзензабуро.— Он забыл о чести самурая. Постыдно иметь столько денег, жить в роскоши и желать всё больше и больше. Порядочность и справедливость покинули его дом. И я скажу ему об этом прямо сейчас. Но если мои слова не вразумят его, ты знаешь, что мне остаётся!

Лицо у папы Ясукиги будто окаменело. В солнечный день, среди шума и праздничной суеты, он сидел, как скала, укрытая холодным туманом. Наверное, сразу понял, что ни о какой школе для Сяку Кэна не может быть и речи, что всё это глупости в сравнении с делом старого самурая. Руки его побелели, сжав рукояти обоих мечей.

Да, самурай всегда верен своему господину, а если не согласен с ним, остаётся одно — уйти из жизни, совершив сеппуку. Только так можно оспорить князя, доказать свою правоту.

Сеппука — это, по сути, то же самое, что харакири. Разница лишь в звуке, с которым меч разрывает ткани. Иной раз слышится более мягко: сеп-ппу-ка. В другой раз куда жёстче: ххаракк-кирри. Так или иначе, а воин вспарывает себе живот, как бы говоря: «Я открываю обитель своей души! Судите сами, насколько она чиста перед вами»!

Папа Ясукиги поглядел в единственный глаз Дзензабуро:

— Вижу, ты готов к окончанию пути в этом мире.

Старый самурай не успел ответить, поскольку во двор в окружении свиты вышел князь Фарунага.



Сяку Кэну показалось, что это чёрная пяти-
ярусная пагода в парчовом раззолоченном хала-
те едет по земле на скрипучих колёсиках. Лицо
князя было тупым и тяжёлым, как сундук для
хранения одежды. Навряд ли до него дойдут
слова простого самурая.

Однако Дзензабуро неспешно приблизился
к господину Фарунаге и заговорил тихо, спокой-
но, будто докладывал о сборе налогов в деревне.
Князь вдруг заалел, как осенняя листва, — слов-
но его отхлестали крапивой. Он поднял тяжё-
лый посох и не то чтобы ударил, а просто лениво
опустил на плечо старого самурая, будто изго-
няя, как жалкую дворняжку.

— Ты даймё! — воскликнул Дзензабуро. — Но
имя твоё ничтожно. Оно изъедено червями! И я
выплюну его, как гнилую вишню!

— Подавишься, скотина! — взревел Фаруна-
га. — Ты пень кривой! Ты даже не достоин вы-
брать смерти! — и взмахнул рукой, точно стря-
хивал гусеницу или червяка.

В мгновение ока старого самурая окружи-
ли только что посвящённые юнцы в остроко-
нечных шапочках. О, недаром знаменитый
Фукаи день за днём обучал их шестнадцати
основным ударам меча — вниз, вверх, наот-
машь и по дуге! Мечи проворно выскользну-
ли из ножен, отбрасывая по двору солнечных
зайчиков. Вверх, вниз, наотмашь и по дуге!
Будто стальной кристалл внезапно вспыхнул
всеми гранями, пронзая старика каждой сво-
ей вершиной.

Все пять единорогов на хаори порозовели,
и Дзензабуро беззвучно повалился на землю. Но

лицо его не исказилось — ни тени, ни облачка боли и смертной муки. А старые шрамы, казалось, сложили прощальные строки:

У извилин быстрых рек, по которым плыл тогда,
У извилин быстрых рек, не минув ни одной,
Всё оглядывался я на далёкий край родной.
Много раз, несчётно раз оборачивался я.

Ни в этой жизни, ни в давнишней Сяку Кэн не видел ничего подобного — разве что в кино. Он оглох, онемел и лишь смотрел, как единороги всё более наливаются краснотой, распухают, вот-вот ускачут вслед за душой своего хозяина.

Возможно, так бы и случилось, если бы господин Фарунага победно не придавил их своей тяжёлой ступнёй.

Так же пели птицы и полыхало на небе солнце. Прошла рядом смерть — легче пуха она! — и разве что-то изменилось в мире?! Куда больше перемен после дождя, не говоря уж о тайфуне. Или Сяку Кэн просто не замечает, не чувствует пока, что на самом-то деле всё-всё изменилось и никогда не будет прежним. Покатился камешек с горы, а за ним уже грохочущая лавина, так что, когда затихнет обвал, и не узнаешь знакомой местности.

Папа Ясукити поднялся со скамьи и сказал, улыбнувшись:

— По дороге сюда я так глупо себя вёл, пердразнивая птиц и прыгая подобно зайцу. Надеюсь, мой меч не оскорблён таким поведением. Он простит меня за всё, да и ты не будешь вспоминать обо мне со стыдом. Ты знаешь, мой

мальчик, те, кто встречаются, рано или поздно расстаются.

Он провёл рукой по лицу Сяку Кэна, будто хотел убрать пелену с его глаз. Повернулся и пошёл к телу Дзензабуро.

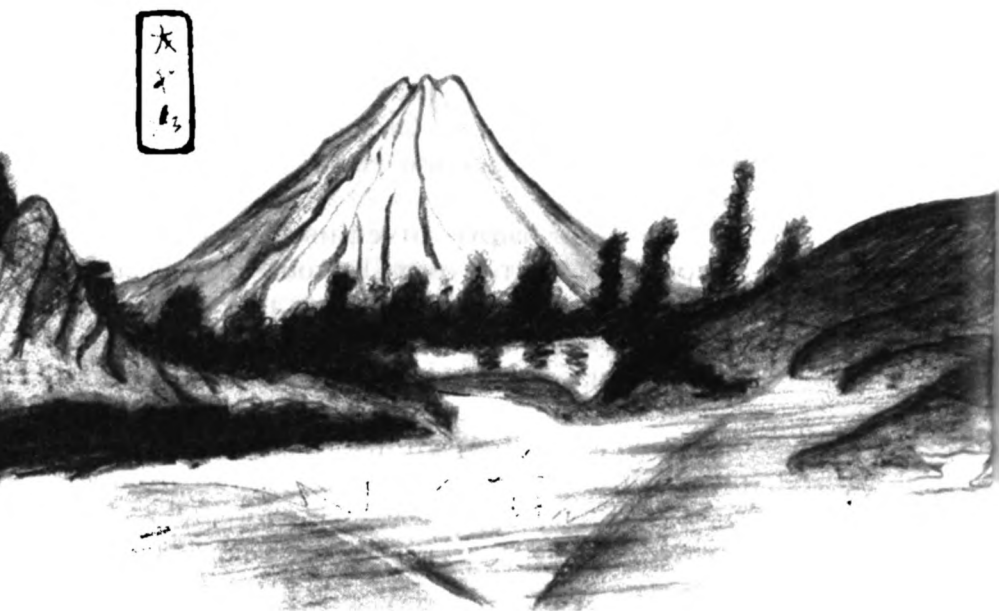
Его не останавливали: Ясукиги всегда был верен господину Фарунаге, в этом никто не сомневался. Приблизившись, он кивнул князю, будто извиняясь. Выхватил длинный боевой меч тати и одним лёгким, едва заметным движением отсёк Фарунаге ногу, попиравшую изрубленное тело.

Отряхнув с меча кровь, папа бережно вложил его в ножны и опустился на колени. Достал короткий меч танто, не более одного сяку длиной, и вонзил себе в живот, проведя слева направо. Выдернув лезвие, наклонился вперёд и завалился на бок рядом с красными единорогами.

Всё произошло так быстро, что никто и ахнуть не успел. Господин Фарунага, опираясь на посох, пошатывался, как подрубленная пихта, но не терял равновесия. Стоял на одной ноге, как цапля, и с удивлением разглядывал отрубленную.

Сяку Кэн вдруг отчётливо вспомнил, как в тридцати шести годах Дракона от нынешнего злосчастного дня ему вырезали аппендикс. Хоть и под местным наркозом, а до тошноты больно! Вот и сейчас ему стало дурно: он побледнел, ноги онемели, а на голову будто набросили плотную чёрную сетку, через которую и дышать-то невозможно. Попытался приподняться, но сознание медленно уплывало куда-то в сторону — то ли налево, то ли направо, волнообразно. Некоторое

время перед глазами ещё мелькали вперемешку сцены из двух его жизней. Последнее, что он увидел, — это слоновье лицо Ганеши под зонтиком. Затем появились какие-то крылатые длинноносые существа, подняли и понесли по воздуху так быстро, что смотреть и чувствовать уже не было сил.



Первым, кто узнал о событиях в доме господина Фарунаги, был Ушиваки-Ноздря. То ли случайно подслушал вечернюю беседу бонз в монастыре, куда вести доходили странным путём, — всё, что происходило в округе, отображалось в бронзовом зеркале, висевшем в Зале покоя; то ли прочитал в третьем глазу на лбу огромного Будды Амиды. Ушиваки так мчался в деревню, что даже забыл поклониться оленям в бамбуковой роще.

Старшие братья Сакон и Наики выслушали его, не задавая вопросов. Если до той поры их лица сохраняли юношескую абрикосовую мягкость, то теперь резко проступила голая твёрдая косточка.

— Собирайтесь, — сказал Сакон. — Мы достигнем поместья Фарунаги в час Змеи. Это хорошее время для катаки-ути. Возмездие тройне свято именно в этот час, с семи до девяти утра.

— Погодите, я предупрежу о беде маму Сяку Кэна! Наверняка увечный даймё пошлёт к ней своих самураев! — крикнул Ноздря, выбегая из дому.

— Вот и хорошо! — кивнул Наики. — Не будем его дожидаться. Совсем ещё мальчик! Пусть рубит капусту деревянным мечом.

Они оседлали лошадей и поскакали прочь от восходящего солнца, стремясь обогнать свои длинные тени. Вряд ли они представляли, как будут действовать, — просто их самурайские мечи стонали в ножнах от несправедливости.

Сакон и Наики гнали коней, не глядя по сторонам, иначе заметили бы, как из реки выглянула выдра с человеческим лицом и долго провожала их взглядом. А это очень дурное предвестие!

Впрочем, они ко всему были готовы: когда помнишь о чести самурая, и жизнь и смерть — легче пуха!

Тем временем Ноздря уговаривал маму Сяку Кэна покинуть дом и хотя бы на время укрыться в монастыре.

— Это невозможно, — спокойно отвечала Тосико, не переставая помешивать рис в котле. — Дух моего мужа Ясукити обязательно заглянет сюда. Что он подумает, не застав меня дома? Это огорчит его! Да и Сяку Кэн непременно рано или поздно вернётся. Вот, погляди, вернулась же наконец наша кошка Микэшка — цела и невредима! — Она налила молока в миску и указала глазами на короткий кинжал у себя за поясом. — Не беспокойся, Ушиваки-тян, я сумею себя защитить.

Вернувшись домой и не застав братьев, Ноздря едва не разрыдался — такая навалилась на него тяжесть. Кружился и порхал в воздухе тополиный пух, оседая на землю и сбиваясь в подобие длинных, чуть шевелящихся драконов, покровителей долины Ямато. Не понимая, что теперь делать, Ноздря долго смотрел на этот небесный пух и на нежные пионы, которые расцветали у дома. Любимые цветы его мамы. Возможно, сейчас она вместе с отцом любит ими из далёкой Чистой земли. Он ещё не знал, что и оба его брата, Сакон и Наики, уже на пути к той Чистой земле.

На лесной дороге, где накануне Сяку Кэн увидел среди деревьев пузатого Ганешу, на них напали две дюжины самураев из охраны князя Фарунаги. Схватка была яростной и короткой.

Стальной дубинкой с крюком на конце вырвали меч тати из рук Сакона. Серп, раскрученный на длинной цепи, впился Наики между лопаток.

— Пусть я на крючке, — прошептал он, — однако карпа из пруда ещё замучитесь тащить, — и разрубил одного из нападавших от плеча до пояса, а другому отсёк голову.

— Кроши их, брат, как наш Ноздря капусту! — подбодрил Сакон, орудуя коротким мечом так лихо, что тот казался длиннее длинного, не менее шести сяку, и доставал противников, когда те не ожидали.

В тишине леса, пронизанного солнцем, одна за другой обрывались, как хрупкие побеги бата-та, жизни людей. Многие из них не более двадцати раз любовались цветением лотоса. Да было ли кому до этого дело? Лишь белка тревожно зацокала на кедре и перебежала по стволу на другую его сторону.

Где же Будда Амида? Почему не остановит эту бойню? Или недостаточно душ в Чистой земле и в смрадной преисподней?

Стоя на коленях, Наики еле отбивался, не в силах подняться. Сакон, весь окровавленный, почти вслепую, продирался к нему, как медведь сквозь бурелом. Голова его была пробита кистенём, в груди торчали две стрелы, а в бедре засело копье.

Однако мечи их не унывали! Они отражали удары и наносили всё новые и новые, чувствуя, что скоро остынут и превратятся в бездушную сталь. А пока они пели! Кончался час мщения, час Змеи. И хоть им не удалось добраться до господина Фарунаги, зато слуги его получили сполна.



Песня мечей оборвалась вдруг. Братья лежали рядом, и лица их вновь обрели абрикосовую нежность. Наполненные хвойным дыханием, души их поднялись высоко над лесом. Смущённые и растерянные, они оглядывались по сторонам, потому что расстались со своими мечами, а ещё потому, что теперь видели так много, как никогда прежде. С усилием задержали они взор на родной деревне у карпова пруда, близ бамбуковой роши. Крестьяне работали на полях. В их доме братишка Ушиваки, собираясь куда-то, пристраивал на поясе деревянный меч. А на другом конце деревни Тосико чистила боевые доспехи мужа и аккуратно складывала в сундук. Тихая, мирная жизнь, которая, увы, вот-вот закончится, поскольку приближались к ней два всадника-самурая.

— Быстро наведём тут порядок и поживимся, чем сможем! — произнёс огромный и усатый, небрежно восседавший на рыжей кобыле. Ноги его, не вдетые в стремена, почти волочились по земле, а длинные, как крысиные хвосты, усики доставали до плеч.

— Говорят, у покойного Ясукити красавица жена, — заметил молодой самурай, только вчера удостоенный этого сана.

— Я же сказал — поживимся! — заорал усатый, погоняя кобылу.

Они остановились на краю рисового поля и подозревали крестьянина.

— Где дом Ясукити?

Крестьянин упал на колени и поклонился так усердно, будто хотел заползти в кротовую норку. Не поднимая головы, указал мотыгой неизвестно

куда. Усатый лениво нагнулся, словно не расслышав чего-то. Нехотя обнажил меч и, поморщившись, чиркнул им по земле, отделив голову от тела.

— Это наше право — убить и уйти, если с тобой недостаточно почтительны, — пояснил он, как школьный учитель, поставивший опыт над лягушкой. — Простолюдинов надо воспитывать!

Молодой самурай ещё долго оглядывался. Он и прежде слышал о праве убить и уйти, однако не думал, что применяется оно так просто, — всё равно что вытереть пот со лба или сдуть пушинку с носа. Впрочем, со временем ко всему привыкаешь.

Они легко обнаружили дом Ясукити — по серебристо-синему полотняному карпу, плывшему в небе на бамбуковом шесте.

Посреди комнаты на полу сидела Тосико, в розовом кимоно, с распущенными чёрными волосами. Она была спокойна, оттого что успела закончить все неотложные хозяйственные дела, и напевала тихонько: «Как далеко в сегодняшней погоне ушёл мой маленький охотник на стрекоз!»

Первым с обнажённым мечом вошёл молодой самурай. Услышал короткий свистящий звук — у-у-ути-нэ! — и, так и не разобрав, насколько красива жена Ясукити, упал, пронзённый дротиком. Вслед за ним, скрежеща рогатым шлемом по потолку, ворвался усатый громила. Схватил Тосико за волосы и поволок из дому, как пойманную лису.

— Тебе место в зверинце господина Фарунаги! — усмехался он. — Среди барсуков и медве-

дей.

Нельзя сказать, что Тосико испугалась, хотя этот пучеглазый и длинноусый воин был страшен, как тупой серый налим, вынырнувший из омута, чтобы утащить на дно утёнка. Душа её не обмерла и не ушла в пятки — напротив, она просилась на свободу, хотела как можно скорее встретиться с Ясукити.

Тосико взглянула на карпа, трепетавшего над крышей, на тополиный пух, рассеянно круживший в воздухе. «Облако, что уплывает вдаль, то не милый ли мой?» — подумала она. Выхватила из-за пояса тонкий кинжал и ударила себя в шею, точно туда, где билась голубая жилка.

— О, дьявол! — воскликнул самурай. — Ускользнула лиса!

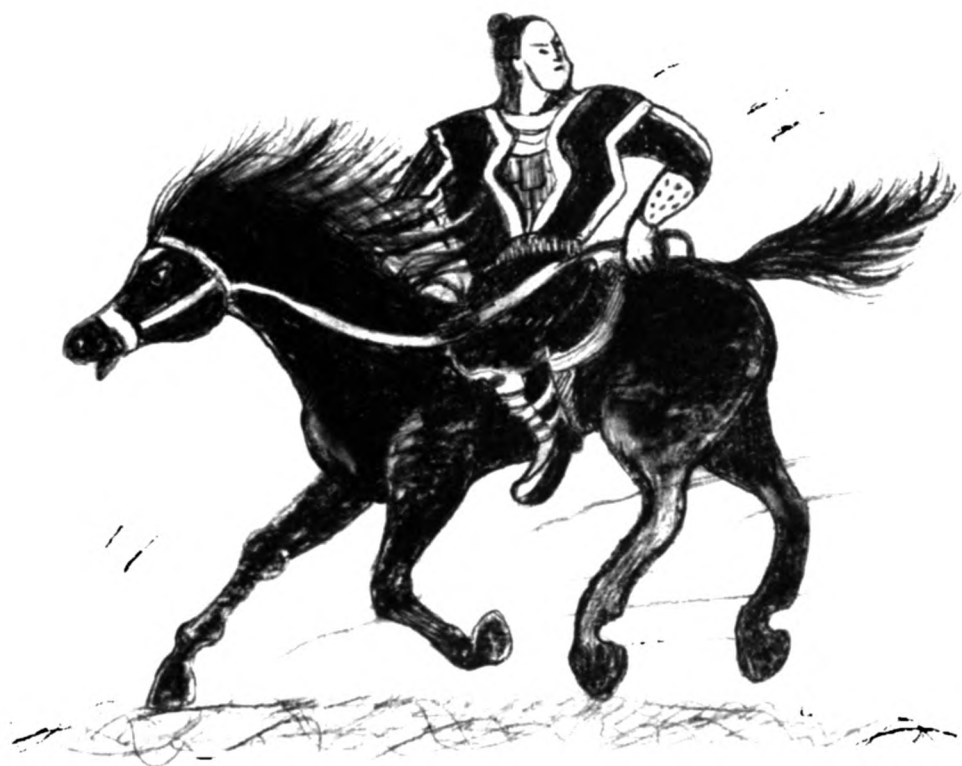
Он склонился над поникшим телом Тосико, протирая глаза от тополиного пуха. И в тот же миг на голову его обрушился трескучий удар. Шлем съехал на лицо. Всё затмилось, перепуталось, и даже длинные усы завязались грубым узлом под носом. Он пытался уворачиваться, но не тут-то было — удары сыпались, как тяжёлые булыжники из опрокинутой корзины, и не было им конца.

«Этот воин очень ловок, — подумал самурай. — Похоже, он и по голому стволу индийской сирени вскарабкается!»

Да, будто сам бог войны Хатиман разгневался и дубасил так, чтобы уж окончательно выбить жестокий дух из этого разбойника. Теряя сознание, усатый самурай как в тумане различил перед собой подростка с деревянным мечом. Конечно, бог войны принимает разные обличья —

вот какой маленький, хилый с виду, а глаза горят и ноздри так раздуты, что, кажется, извергают пламя! Спасибо, не отнял жизнь...

Ноздря и сам не мог понять, как справился с этим чудовищным громилой, — точно Сакон и Наики оказались рядом, направляя его деревянный меч. Поклонившись на четыре стороны, Ноздря вскочил на рыжую кобылу и поскакал к горам Ёсино, чтобы там, среди отшельников, найти дорогу в Бриллиантовый мир, в светлое царство Будды Амиды.





ГАНЕША

яку Кэн очнулся в каком-то тёмном и тесном логове. Он лежал, свернувшись, как в материнской утробе: «Неужели это будет моё третье рождение?»

— Можно и так сказать,— услышал он трубный, чуть гундосый голос.— Если бы не Дзидзо, кликнувший крылатых тенгу, которые в суматохе унесли тебя со двора Фарунаги, я бы и четверти редьки не дал за твою жизнь! Выбирайся наружу.

Сяку Кэн потянулся к свету и осторожно выглянул.

Толстые красно-коричневые стволы криптомерий уходили ввысь. Ветви их, будто крыши, располагались ярусами, и можно было подумать, что вокруг сотни пагод, подпирающих небо. Снизу, приглашая спускаться, помахивал ушами знакомый пузатый Ганеша, в полосатом шарфе на шее и жёлтом кимоно.

— Где-то там в дупле мой зонтик! Ты узнаешь его — он с одной ногой и одним глазом. Зонтик-привидение по имени касано-обака. Он поможет тебе.

Сяку Кэн пошарил в темноте и наткнулся на тонкую деревянную ногу. И тут же прямо на него уставился красноватый глаз.

— Держись крепче,— посоветовал зонтик, подмигивая.— Будем прыгать!

Опустив Сяку Кэна на землю, касано-обака зажмурился и пропал, как и полагается всякому привидению, завершившему дело.

Ганеша сидел у костра, помешивая хоботом в котелке какое-то варево.

— Надеюсь, ты проголодался, дитя криптомерии! Отчего бы тебя так не называть, если уж

ты вышел из её чрева? Послушай: крипто-мерия. Иначе говоря — скрытая доля. Или — тайное участие. Это дерево всегда участвовало в твоей жизни, оберегало как могло — ведь твой дух-охранник Дзидзо вырезан из его древесины. Правильно я говорю?

Маленький Дзидзо закивал, покачиваясь на ленточке: «Да-да, теперь только я у него и остался».

Сяку Кэн сразу вспомнил тот ужасный день — руку отца на своём лице и то, как он упал, вонзив меч в живот, рядом с красными единорогами.

— А мама? — еле вымолвил он.

— Твоя мама Тосико вместе с твоим отцом, — сказал слоноликий Ганеша. — На горных вершинах, среди покоя и света. Им хорошо там, поверь мне.

Сяку Кэн понурился, и Дзидзо сгорбился на его груди.

Здесь, в лесу, среди гигантских криптомерий, быстро темнело и небо сливалось с ветвями. Ни одна звезда не проглядывала. Лишь костёр освещал небольшую полянку.

Сяку Кэн силен и не мог представить, что он совсем один в этом огромном мире. В душе его было беспокойно, как в бескрайнем океане. Казалось, чёрные волны накатываются одна за другой и вот-вот захлестнут, потопят. Сейчас погаснет костёр и настанет кромешный мрак, в котором и жить-то невозможно, — такая жуткая пустота вокруг!

— Ну, это уже через край, — заметил Ганеша, снимая котелок с огня. — Едва не убежал! Тут манго, бананы и сахарный тростник — не могу

обойтись без сладкого. Потому с малых лет такой толстобрюхий!

Он налил компот в деревянные плошки:

— Рекомендую! Сладость прибавляет мудрости.

Сяку Кэн едва притронулся к приторной горячей похлёбке. Может, он и был голоден, но больше всего на свете ему сейчас хотелось плакать — от жалости к себе.

— Гляди-ка! — подтолкнул его хоботом Ганеша. — Это цуки-усаги, любимые лунные кролики Будды Амиды!

Он поднял голову и увидел, как во тьме резвятся, носясь зигзагами и прыгая друг через друга, какие-то светлые ушастые пятна. Неподалёку прошёл сгорбленный старик Фудзин с большим мешком, полным ураганов. А совсем рядом, меж стволов криптомерий, танцевали девушки в белых платьях. То одна, то другая, высоко подскочив, превращалась в большую птицу и улетала, шумя крыльями. Это были журавли-оборотни из племени цуру. Там и сям слышалось шуршание лесных духов якши. Не говоря уж о сверчках и цикадах. И костёр, разгораясь, потрескивал, казалось, веселее.

— Если поймёшь, что всё едино в этом мире, — говорил Ганеша, прихлёбывая компот, — то навсегда позабудешь об одиночестве. В горах и реках, в скалах и пещерах, в деревьях и травах, в любой пылинке и капле та же жизнь, что и в тебе. Цыплёнок разбивает скорлупу, чтобы вылупиться на свет и ощутить всю его полноту. Попробуй и ты, дитя криптомерии!



«Старый пруд, — вспомнил Сяку Кэн. — Прыгнула лягушка. Плеск воды. И карп Сёму, вынырнул, шевеля губами и желая доброго пути».

— Пожалуй, и этого достаточно, чтобы не унывать, — согласился Ганеша.

— Вы читаете мои мысли?! — сообразил наконец Сяку Кэн.

— Погляди на эти уши. Разве мимо них что-либо проскочит? Вот слышу, как из мешка старика Фудзина выскользнул особенно юркий тайфун. Сейчас начнётся!

Минуты не прошло, как хлынул такой ливень, что не спасали даже кроны криптомерий.

— Эй, каса-но-обака! — протрубил Ганеша.

И немедленно над ними широко распахнул свой единственный глаз зонтик-привидение. Он крепко стоял на деревянной ноге, охраняя их от воды и порывов ветра. На редкость уютно стало в лесу у костра.

Под шум дождя и завывание беглеца тайфуна Сяку Кэн оживился. Доел сладкую похлёбку и спросил:

— Простите, откуда у вас слоновья голова на обычном человеческом теле?

Ганеша дружески постучал хоботом по спине:

— О, это долгая и печальная история. Отложим её на завтра. А теперь пора спать. Твой Дзидзо уже дремлет, да и у меня язык заплетается. Но сперва напиши на кусочке коры имя Баку — это добрый леший, похожий на тапира. Он как чертополох поедат плохие сновидения. Ложись левым ухом на кору, и тебе приснятся мудрые и сладкие с-ло-ны! То есть сны-ы-ы-ы... — и он зевнул от всей души, не только

ртом и хоботом, но и обширными, как наволочки, ушами.

Тайфун, надо сказать, оказался на редкость холодным и расчётливым. Пока старик Фудзин отлавливал его, тот обернулся таким снегопадом, что весь лес к утру был белым и напомнил Сяку Кэну прежнюю жизнь в стороне белого тигра. Из-под снега торчали папоротники да растрёпанные головы хризантем.

Ничуть не меньшим растрёпой выбрался из дупла криптомерии Сяку Кэн. Ему действительно виделись сладкие сны. В основном о сладкой мести господину Фарунаге! Была ли в них хоть капля мудрости — трудно сказать. А может, мудрость как раз и заключается в мести? Ненависть к Фарунаге поднялась такой волной, что, казалось, она выше криптомерий. Будто буйствовал и бушевал в Сяку Кэне тайфун, удравший из мешка старика Фудзина. Хотелось немедленно мчаться в поместье князя, чтобы разделаться с ним, разгромив и разрушив всё, что подвернётся под руку. В ярости шнырял Сяку Кэн по окрестностям, разгребая снег и пытаясь найти подходящую для последнего сражения дубину. Но обнаружил лишь Ганешу, устроившегося в сугробе, — только хобот, как диковинное трубчатое растение, выступал наружу.

— Отчего ты так взволнован? Буквально человек-волна! — спросонок прогудел Ганеша. — Погляди на свежее, тихое утро! С этим первым снегом начались годы Тэммон, целых двадцать три, и ты можешь прожить их в достатке и покое, если оставишь мысли о мести. Но если ты будешь счастлив, только когда оторвёшь голову

Фарунаги — это тоже твой путь. Словом, настало время выбирать дорогу.

Сяку Кэн притих. Он не раз слышал о людях, которые живут в этом мире сами по себе. У них нет семьи и господ — они бродячие одинокие самураи. Хотя иногда сбиваются в отряды, становясь настоящими разбойниками. Странствуют из края в край, вызывая на бой лучших воинов, ища славы или смерти. От западного берега идут к восточному, от северного к южному. Их так и называют — ронин, или человек-волна.

У них длинные волосы и бамбуковые шляпы с окошечком, напоминающие пчелиный улей, сидящий на плечах. Их длинные шаровары хакама заправлены за пояс, а соломенные сандалии — на толстой кожаной подошве. Редкому ронину удаётся пережить эту крепкую подошву — их век куда короче, хотя они искусно владеют мечом и алебардой.

Так кто же он, Сяку Кэн, дважды родившийся в год Дракона, — дитя, оберегаемое великой криптомерией, или человек-волна, судьба которого разбиться о прибрежные камни? Одну жизнь он уже прожил — так, что едва ли есть что припомнить. Неужели и вторая пройдёт кое-как, ни шатко ни валко? А ведь бусидо, путь воина, говорит: когда для выбора есть два пути, выбери тот, который ведёт к смерти. Не рассуждай! Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и смело иди. Правое дело — всё. Жизнь — ничто.

Задумавшись, Сяку Кэн и не заметил, как над ними раскрылся зонтик-привидение.

— Послушай, мальчик, — вмешался Ганеша, разметаая руками и ушами снег, чтобы сложить

костёр. — Давай-ка сначала позавтракаем и поговорим. Ты спрашивал о моей слоновьей башке. В общем-то, я к ней давно привык, хотя, сознаюсь, было непросто. Долго не понимал, как управляться с хоботом, — даже прятал в карман. Родом-то я из Индии, и появился на свет весьма пригожим, с милой человеческой головкой. Да вот беда — один завистливый прохвост буквально испепелил её злобным взглядом. Мой папа очень огорчился: безголовый сын — куда уж хуже! И чтобы хоть как-то исправить положение, в отчаянии приставил мне вот эту, отобрав её у слона.

— То есть как? — не понял Сяку Кэн. — Отрезал и пришил?

— Ну, это сложный вопрос, — уклончиво отвечал Ганеша. — Не всё так просто в этом мире. Слон обрёл новую голову, нырнув в океан, а эта удачно прижилась на моих плечах. Видишь, никаких шрамов, — размотал он полосатый шарф.

— И ты не посчитался с негодяем, лишившим тебя нормальной головы?! — воскликнул Сяку Кэн.

Ганеша почесал хоботом затылок:

— Знаешь ли, теперь я счастлив, что не сделал этого! Мне по сердцу нынешний вид. Впрочем, мой рассказ не о внешности, а о сущности. То есть о мыслях, приходящих в мою голову и уходящих из неё. Самое интересное происходит, когда они встречаются. Шумят, как крылатые тенгу на рассвете в своём ущелье. Я не всё улавливаю, но кое-что запоминаю. Вот, например: истинная отвага в том, чтобы жить, когда время жить, и умирать только тогда, когда настало вре-

мя умирать. Постарайся разобраться в этом, маленький человек-волна, прежде чем лезть с дубиной в поместье князя Фарунаги.

В молчании они позавтракали всё той же сладкой фруктовой похлёбкой. Снег вокруг таял на глазах и глухо обрушивался с ветвей криптомерий, то и дело прерывая кукушку. Но та была на редкость упорной и принималась считать сызнова. Словно запускала, как часовой механизм, секунды и минуты нового времени — годов Тэммон.

«Какие они будут, эти двадцать три года? — размышлял Сяку Кэн. — Если у них есть собственное имя, значит должны отличаться от остальных — прошедших и будущих. Запомнятся ли они? Или через какое-то время, через тридцать шесть лет Дракона, например, всем будет начихать на эти годы, будто и не отсчитывала их кукушка, будто и не жил среди них человек по имени Сяку Кэн».

— Смерть, конечно, не страшна, — молвил Ганеша. — Но глупее глупого призывать её или самому стремиться к ней. Не надо её бояться, но следует уважать. То же самое могу сказать и о жизни. С одной только разницей — её надо любить! И тогда, когда она хороша, и тогда, когда хуже, казалось бы, и быть не может, одни несчастья. Жизнь, скажу тебе по секрету, — это Бог. А он не может быть всё время одинаковым. Он любит, сомневается, страдает, мучается, но сквозь всё это опять-таки любит.

Как из-под земли возник усталый старик Фудзин. Присел у костра на мешок, полный ураганов.

— Добра тебе, слоноголовый, — поклонился Ганеше и косо глянул на Сяку Кэна. — Не встречали беглеца? Много дел натворил он за эту ночь — прямо-таки космический тайфун! Племя крылатых тенгу до сих пор из-под снега откапывается.

— А мы как раз к ним собрались, — сказал Ганеша. — Мой друг должен взвесить свою судьбу и встать на путь ронина, человека-волны. Надеюсь, тенгу примут его и передадут часть своей силы. Для любого смертного благо оказаться рядом с этими созданиями.

Старик Фудзин внимательно оглядел Сяку Кэна, будто точно знал, что в душе его скрывается сбежавший тайфун

— Счастливого пути! Однако остерегайтесь давать приют тайфунам — никогда не ведаешь, что он выкинет в следующий миг.





яку Кэн давно уже слышал о племени крылатых воинов тенгу и даже один раз мельком видел их — правда, почти без сознания, когда его уносили из княжеского поместья. Тенгу славилась воинским искусством и непобедимым духом. Они жили в горах Ёсино, в скрытом туманом глубоком ущелье, добраться до которого простым смертным было почти невозможно. Сначала путь лежал на священную двуглавую вершину Коя, свободную от всякой скверны, а затем вниз по едва заметным тропам над бездонными пропастями.

Впрочем, даже очутившись в ущелье, можно и не встретиться с тенгу. Чтобы увидеть их, надо из земного времени перейти в космическое.

— В годы Тэммон это не так уж и сложно, — сказал Ганеша. — Сейчас время стало пористым, и я легко найду в нём лазейку.

В плетёных корзинах, подвешенных на канате, они как раз переправлялись через гиблую пропасть, на дне которой гремела, будто тяжёлый товарный состав, река Великого Змея. А в долине Ямато она текла такая мирная, спокойная. Сяку Кэн подумал, что, может быть, они уже проникли незаметно в космическое время, где всё иное — дикое, необузданное, первозданное, не смягчённое жизнью и любовью. Повсюду торчали голые, красновато-чёрные, словно опалённые, скалы. Едва заметная среди скользких валунов тропинка круто устремлялась ввысь.

Чем выше они поднимались, тем крепче становился ветер. Он налетал сразу со всех сторон — казалось, вот-вот подхватит и столкнёт с обрыва. Настала ночь, и над головой высыпали неверо-

ятные созвездия. Сяку Кэн пытался узнать хоть одно и не мог, будто их перемешало ураганным ветром; ещё немного, и сметёт, как крошки со стола, унесёт за пределы Вселенной — останется над головой пустая чернота. Дзидзо, еле удерживаясь на ленточке, отплясывал бешеный танец. А слоновьи уши Ганешы растопырились и надулись, как паруса.

— Пришла пора взвесить твою судьбу! — протрубил он. — Набери-ка побольше камней, закрой глаза — и ступай вперёд! Сорвёшься — значит, такая злая твоя доля...

Сяку Кэн не раздумывая снял куртку, набил её булыжниками, взвалил на спину и еле смог сдвинуться с места. Одно хорошо — не сдует. Ну а глаза закрывай или нет — всё равно тьма-тьмушая, ревушая. Спотыкаясь, ползя кое-где на корточках по краю отвесных скал, Сяку Кэн вдруг припомнил, как закончилась его прежняя жизнь. Впрочем, стоит ли рассказывать? Он умер просто — от переживаний, увидев, как ищарапали и помяли его новую машину. Кажется, выбросился с десятого этажа. Наверное, всё же лучше рухнуть с обрыва — так хотя бы судьбу взвесишь!

— Сказать по правде! — загудел ему в ухо Ганеша. — Судьба всё время на весах! Вопрос в том, сколько мер риса на другой чаше. Чем тяжелее твоя судьба, тем больше пищи ты оставишь в этом мире. Надеюсь, понимаешь, о чём я говорю. Да уж достаточно — выбрасывай камни и распахни глаза!

Сяку Кэн увидел, что они взошли на хребет, напоминавший длинный драконий хвост. Впереди

сквозь предутреннюю мглу проступала двуглавая вершина горы Коя. Одна голова, что повыше, — мужская. Другая — женская. Всякий раз, когда долине Ямато грозила опасность, они начинали тяжело вздыхать. Как раз между ними опускается солнце, указывая путь в Чистую землю, что лежит, наверное, в ином, космическом, времени.

Уже начинался рассвет, когда они наконец ступили на мужскую вершину. Ветер был нестерпим — казалось, будто именно он и выдувал из глубин океана багровый, набирающий яркость шар.

— Не увидев такого, не скажешь «кэкко»! То есть — прекрасно, великолепно! — крикнул Ганеша сквозь неумолчный гул и вой. Уши хлестали его по щекам, а хобот трепыхался, словно паутинка на сквозняке.

На ровной площадке было выложено белой галькой созвездие Большой Медведицы. Ганеша подтолкнул Сяку Кэна вперёд.

— Становись ей на хвост!

Они разом наступили на хвост Медведицы и тут же, словно перенесённые мощным порывом, оказались на женской вершине горы — перед небольшими деревянными столбами, меж которыми был натянут толстый жгут, сплетённый из рисовой соломы, — будто для состязаний по прыжкам в высоту.

— Тории, — сказал Ганеша. — Ворота, обозначающие вход в священные пределы. Давай-ка, сигай через верёвку, а я уж пройду по-стариковски, согнувшись. С моим-то пузом не напрыгаешься!

Сяку Кэн прыгнул так высоко, что ясно разлился под собой Малую Медведицу, — то ли выло-



женную из гальки, то ли настоящую, и опустился точно в её ковш. Он не сразу понял, что здесь полное затишье. Безветрие, от которого позванивало в ушах. Точнее, этот звон и был ветром, но уже не земного, а космического времени. Сяку Кэн увидел вдруг всю Вселенную — рождение и смерть звёзд, и саму Землю, летящую сквозь космический перезвон.

Странно, но и земное солнце продолжало своё восхождение. Только тихонько позванивало. Любование восходом — давний обычай. А когда солнце ко всему прочему звенит, хочется разобрать мелодию или даже слова, — может, сама богиня Аматаэрасу обращается к ним.

— Это колокольчики на воротах, — услышал он голос Ганеши. — Значит, мы попали именно туда, куда хотели. Теперь до тенгу рукой подать! Да смотри — осторожнее! Здесь время зыбкое, как песок, — того и гляди, провалишься неведомо куда, потом разыскивай.

Ганеша, словно отдыхая от долгого натиска ветра, вытряхивал его из ушей, покачивал слоновьей головой.

— Впрочем, судьба твоя, человек-волна, уже взвешена и нечего опасаться. Ты пройдёшь свой путь от начала до конца. Хотя, должен сказать, он будет короток, не длиннее медвежьего хвоста.

Тут Ганеша разложил маленький костёр и они, как полагается, сожгли на нём деревянные таблички, на которых перед восхождением записали свои сокровенные желания.

Спуск в ущелье тенгу оказался не легче подъёма на гору Коя. Камни то и дело врассыпную убегали из-под ног. Отвесные утёсы сменялись

ревушими как звери водопадами, в которые приходилось нырять, не зная, что за ними,— глухая скала или ход в пещеру. Мучительно продирались они сквозь заросли медвежьего бамбука. Тучи mosкитов навалились со всех сторон.

— У меня нет лишней крови,— причитал Ганеша, облепленный ими так, что напоминал рогожный мешок с хоботом.— Каждая капля на счету!

Тут-то, к счастью, и появились красномордые обезьяны макаки с пальмовыми листьями. Они живо разогнали mosкитов и указали близкий путь в ущелье тенгу. Через рошу цветущих камелий, где обитает некий Кунадо, не пропускающий злых людей. Мимо горячих горных источников. И дальше по тропе, идущей среди кустов азалии.

— А там уж услышите шум, как на птичьем базаре,— пояснил старший макака.— Так тенгу встречают восход. В ущелье у них сумеречно, и они торопят свет.

Непростой, однако неожиданно скорой оказалась дорога от вершины с воротами до ущелья тенгу. Кунадо они не повстречали, чему искренне радовались: кто его знает, как он определяет злых людей?





щелье тенгу было таким глубоким, что на ясном уже небе, будто при взгляде из колодца, отчётливо проступали неизвестные звёзды, поджигавшие солнце.

— Всё же тут, заметь, другое время, — отдувался Ганеша, когда они сделали привал у горячих источников. — То час проскакивает, как одна секунда. То минута длится вечность. Всё зависит от твоего желания.

Сяку Кэн поглядел внутренним взором и не очень-то разобрался в своих желаниях. Они как-то смешались в кучу. Пожалуй, только одного явно хотелось даже в этом космическом времени: прикончить господина Фарунагу. Он надеялся, что тенгу научат, как это ловчее сделать. Иначе ради чего все эти козлиные скаканья по горам?

Сяку Кэн и Ганеша только что ступили на тропу, укрытую азиями, когда над головами, точно стрижи, просвистели первые тенгу. Это были, видимо, дозорные. Спланировав на кусты и сложив длинные ласточкины крылья, тенгу замерли. Чуть ли не задремали. Глаза их были печальны. Скорбно опущены уголки ртов. Рыжие волосы и длинные красноватые носы, подобные клювам. То ли крылатые лисособаки, то ли человекообразные птицы. Казалось, они все на одно лицо, как солдаты в шеренге. Впрочем, если приглядеться, тенгу очень отличались друг от друга. У одних крылья покороче. У других носы подлиннее. Были и бородатые, и чернобровые, и лысые. Да и кожа всех цветов радуги, что смягчало общее грустное выражение.

— О, не передать словами нашего восторга! — воскликнул Ганеша, кланяясь всем чем только

мог. — Какая нам выпала честь — увидеть перед собой великих тенгу! — Он подтолкнул Сяку Кэна и прошептал: — Восхищайся — они такие обидчивые, неизвестно что могут подумать...

Между тем зелёный тенгу, приветливо улыбаясь, соскочил с куста. И прочие начали подмигивать и пересмеиваться.

— Любезные мои, — сказал зелёный таким голосом, каким, наверное, мог бы разговаривать дружелюбный дятел или ласковая сорока, — о нас ходит столько небылиц! Забудьте эти сказки!

Остальные тенгу сразу попрыгали на землю, окружив Сяку Кэна с Ганешей, и застрекотали, затараторили наперебой, желая, видимо, оправдаться, — мол, чего только о них не сочиняют в мире! То они защитники и покровители — что чистая правда! — то жестокие обманщики, то похитители детей, то подстрекатели войн... Помесь человека с аистом! С длиннющими красными носами! А то и с вороньими клювами. Погляди-те, не бред ли это! Обидчивые и злопамятные... Своими крыльями или веерами якобы нарочно вызывают губительные ураганы. А острыми, как гвозди, когтями задирают скотину на пастбищах...

— Говорят, только и делаем, что летаем, да ещё брешем как собаки. Вот какая напраслина! — таял из последних сил зелёный. — Поневоле станешь обидчивым!

Всё это действительно сильно напоминало птичий базар или псарню. Сяку Кэн уже ничего не понимал, а Ганеша ловко свернул уши конвертиками и только кивал головой, как китайский



болванчик.

Тенгу долго не могли успокоиться. В конце концов выделили троих — красного, белого и того самого зелёного, — чтобы проводить гостей в селение.

Дорогой красному очень хотелось высказаться. Он пощёлкивал клювом, весьма походившим на вороний, и доверительно заглядывал в глаза Сяку Кэну.

— Вообще-то у нас всякое бывает, — не стерпел наконец. — В семье, как говорится, не без уродов! Советую — не позволяйте себе лишнего, чтобы ненароком не обидеть наших ребят.

Они вышли на обширную просеку, заваленную снегом недавнего тайфуна. Среди огромных кедров, лиственниц и елей виднелись всего-то две-три пагоды. Остальные дома сразу и не заметишь: как птичьи гнёзда, они лепились меж сучьев — ближе к вершинам деревьев.

— На самом высоком кедре живёт наш стар-

шина Кэйки Сияма, — куда-то вверх указал белый. — Он дряхлый. Уже не спускается на землю. Так, летает в небе — и домой, на боковую.

Красный проводил их во дворец Воинских добродетелей и в фехтовальный зал додзе.

— Здесь учились знаменитые воины. Например, Минамото, — сказал он. — А также великий человек-волна Мусаси, который из всех поединков выходил победителем. Он единственный обладал ударом меча «пируэт ласточки». Но однажды, решив жениться, споткнулся на ровном месте, как раз у дома невесты, и сломал себе шею.

— Ему можно позавидовать — славный конец для человека-волны! — хрюкнул Ганеша.

Сяку Кэн слушал, смотрел и не понимал — во сне всё это или наяву? Казалось, они только что повстречались с тенгу. И в то же время будто бы много месяцев миновало с тех пор, как его начали обучать кэндзюцу — искусству владения мечом. Сколько космического времени провели с ним в фехтовальном зале красный, белый и тот самый зелёный тенгу?

Сяку Кэн уже лихо обращался с копьём и алебардой, с кинжалом и стилетом, с железным веером и огромным луком из медвежьего бамбука, поражающим любую цель на расстоянии в триста метров. Наверное, он был готов расправиться с господином Фарунагой, но даже и не вспоминал о нём.

А когда он успел так подрасти?! Пожалуй, теперь выше любого лука — кэн с лишком. Папа Ясуцити, должно быть, радуется в Чистой земле. А ведь отсюда до неё рукой подать. Во всяком случае, так говорил старшина Кэйки Сияма, спу-

стившись однажды с кедра, чтобы посмотреть, как Сяку Кэн сражается двумя мечами против дюжины тенгу. Тогда зелёный вдруг обиделся неизвестно на что и драка получилась нешуточной. И хотя Сяку Кэн остерегался ранить противника, клинки в его руках сверкали и звенели с божественной силой; всё это, видимо, ублажало старшину.

Кэйки Сияма был очень дряхлым, седоватопегим. Крылья его так обтрепались, что смахивали на старые веники, — непонятно, каким образом удерживали в полёте. Зато когда старшина говорил, все замолкали.

— Кто бы ты ни был, — заухал он филином, — посвящаю тебя в самураи! Ты храбр, хладнокровен и милосерден в бою! Ты нежный воин, а это и означает быть истинным самураем.

Сяку Кэн поклонился, и на его накидке хаори тут же возникли три расшитых золотом красных дракона.

— Отныне твоё имя Рюноскэ, или Дракон! — продолжал старшина. — И это твой герб до окончания жизни. Запомни, на пути к просветлению всякое живое существо минует три состояния — злых духов, скотов и людей, — чтобы стать небесным созданием. Ты, вижу, близок к цели, и я тебе её покажу!

Он легко подхватил Сяку Кэна и взмыл поверх самых высоких деревьев. Проскочив сквозь душные влажные облака, они очутились в золотом небесном сиянии. Пришурившись, старшина разглядел двуглавую гору Коя и устремился к ней. Сяку Кэн захлёбывался от скорости, но старался не закрывать слезящиеся глаза и по-

малкивал. Зато Дзидзо у него на груди засвистел, как канарейка, а потом затарахтел, как кривое колесо по мостовой.

Они нырнули меж вершинами туда, где опускалось солнце, и вдруг начали стремительно падать. Сяку Кэн зажмурился и осознал, как душа расстаётся с телом: она просто-напросто выпорхнула и затрепетала сама по себе, озираясь вокруг.

Она не сразу поняла, где очутилась. Это было не земное и не космическое время. Это была Чистая земля, созданная светом! Такая прекрасная, что рассказать о ней невозможно.

Старшина Кэйки Сияма сделал в воздухе «пируэт ласточки». Они перестали падать, и онемевшая от увиденного душа вернулась в тело Сяку Кэна.

— Ты готов продолжать свой путь, человек-волна? — прокричал ему на ухо старый тенгу. — Тогда оставляю тебя у подножия гор Ёсино! Ты тяжёлый, а я уже дряхлый.

Он опустился неподалёку от того места, где Сяку Кэн с Ганешей начинали восхождение. Сколько прошло с той поры? Неделя, месяц или год? Да это и неважно. Главное, всё изменилось. Сяку Кэн теперь точно знал, что папе и маме хорошо в Чистой земле и что скоро он их увидит, если спокойно пойдёт своей дорогой. А иногда ему и не хотелось. Для человека-волны самое главное — путь.

Отдышавшись на пеньке, старшина сказал:

— Тенгу всегда к твоим услугам — в этой жизни или в следующей! И не забывай: человек — это благожелательность и сострадание! — Он

поднял оба крыла, неожиданно став похожим на пожилого дворника с метлами на плечах и сизым, в крапинку, носом. Совсем уже собрался улетать, но задержался: — О Ганеше не беспокойся. Он разыскивает в космическом времени свою прежнюю голову — слоновья ему порядком надоела. Я-то знаю, какое желание было написано на его деревянной дощечке.

Старшина тенгу улыбнулся, вспорхнул с пенька и через миг уже казался малой птишкой в небе.





яку Кэн надумал навестить родную деревню. То есть он вовсе и не размышлял, куда теперь направиться, — это было ясно, как то, что говорил старый тенгу. Путь преграждала река Великого Змея, которая, правда, у подножия гор Ёсино вела себя довольно спокойно. Пройдя вниз по течению, он обнаружил в кустах плот и вырезал из крепкого сука криптомерии весло длиною с боевой меч. Он не столько грёб, сколько отталкивался от дна. Сяку Кэн прилёг на тёплые брёвна плота и, глядя на речные струи, задремал.

— О, кажется, это дух реки! — разбудил его голос. — Да нет — человек-волна! Не я ли предсказывал тебе будущее?

На берегу стоял отшельник в соломенной шляпе и белой одежде, с большой раковиной на груди. Тот самый ямабуси по имени Энно, рассказавший когда-то о прежней жизни Сяку Кэна. Кривым посохом он пытался подтянуть плот, приговаривая:

— Теперь, посетив племя тенгу, ты стал велик, как двенадцать небесных генералов, что охраняют Будду! Ты Рюноскэ-дракон, и душа твоя покойна, словно равнинная река. Однако что будет, то будет! И крутые пороги, и водопады, и волны впереди.

Сяку Кэн помог вытащить плот на берег и, прихватив весло, пошёл следом за ямабуси.

Вот уже показались красные пагоды буддийского монастыря, и слышно пение соловьиного водопада. В бамбуковой роще, как прежде, отдыхают олени. А на берегу пруда рыбаки заводят невод.

— Сейчас они выловят говорящего карпа, — сказал ямабуси. — Того, который каждый раз желал тебе счастливого пути! На его чешуе уже нет места для иероглифов. Всё там записано — от древних времён до наших дней, включая и твою историю. Труд его закончен, и карп решил расстаться с жизнью, как наш мудрейший император Сёму, попавший в сети заговора.

Они миновали пруд и направились в сторону от деревни, к ближайшим зелёным холмам. Ещё издали Сяку Кэн приметил одинокое камфорное дерево, а под ним большой чёрный камень, огороженный соломенной верёвкой. Обычно в такие места приходят общаться с духами умерших, которых называют Ками.

— Дальше ступай один, — кивнул Энно, не глядя в глаза. — Там найдёшь, с кем поговорить.

Сяку Кэн с малых лет не боялся духов, а уж теперь готов был на встречу с любым Ками, хоть с самим императором Сёму, скончавшимся лет восемьсот назад. Может, явится в виде знакомого карпа?

Опираясь на весло, как на посох, он шёл и напевал знакомую с детства песню: «Среди гор Ёсино зелёный плющ растёт. Для влюблённых служит ложем он. Если нам с тобой на нём не спать, я не в силах буду больше жить!» Так пел для его матери отец.

И вдруг Сяку Кэн увидел, как чёрный камень меняет очертания. От него откололась часть, напоминавшая человека, — это был некто чёрный и косматый, будто выросший прямо из камня.

— Эй, Ками! — крикнул Сяку Кэн. — Чей ты дух? Отзовись!



— Сам ты Ками! — услышал в ответ. — Я-то знаю, чей ты дух! Песня надоумила. Мы учились с тобой в монастырской школе! Ты дух моего приятеля Сяку. Как живётся в Чистой земле?

Сяку Кэн уже догадался, с кем говорит, и загудел в нос, точно слогоголовый Ганеша:

— Я посланец преисп-о-о-одней! Бесы давно разложили костёр и кипятят смолу в котле, поджидая тебя, Ушив-а-а-а-аки! Собирайся, грешник по кличке Ноздря!

Как ветром сдуло того с камня. Спотыкаясь, бросился он прочь, думая укрыться под низко склонёнными ветвями плакучих ив. В прежние времена ему бы наверняка удалось ускользнуть. Однако Сяку Кэн набрался ловкости у тенгу. Как ни петлял Ноздря подобно зайцу, а был схвачен и повален на землю.

Долго они разглядывали друг друга.

В чёрном одеянии монаха-странника, бородатый и лохматый, Ноздря здорово напоминал пришельца из иных миров. Да и Сяку Кэн, человек-волна, немногим отличался. А красные драконы на его куртке тарасились, как исчадия ада.

Наконец, посмотрев глаза в глаза, они признали, что пока не духи, а вполне живые люди. Это подтвердил и подоспевший ямабуси Энно. Наверное, он ожидал подобной встречи и был доволен, словно только что посетил театр.

Они шли втроём неизвестно куда, болтали неизвестно о чём, и Сяку Кэн так радовался непонятно чему, точно превратился из неприкаянного духа в бойкого молодого человека, которому решительно всё интересно и любопытно.

Ноздря много о чём рассказал. Как избил до полусмерти длинноусого самурая, напоминавшего гигантского налима. Как бежал в горы и стал монахом. Как путешествовал в Корею и Китай, чтобы набраться ума-разума. Как долго не было тогда попутного ветра и путь в один конец занял полгода. А у китайских берегов их судно потрепали тайфуны и пираты. Впрочем, что с него взять — только серебряную тушечницу и кисти для письма! Он спрятал их в ноздри! Да, таких как он, книжников, самураи называют подгнившими плодами или горькими пьяницами, от которых разит тушью.

— Однако весь мир, — увлёкся Ноздря, — лишь порождение нашего разума! Подлинно на самом деле Единое Сознание Вселенной. Оно приводит человека к просветлению, когда он способен слиться со всем и раствориться во всём...

— Верно, недавно ты слился с камнем, — согласился Сяку Кэн. — А потом хотел раствориться в плакучих ивах.

— Всему своё время, — закашлялся ямабуси. — Братец Ушиваки должен поднести в дар монастырю десять тысяч изображений Будды! Вот после этого и растворится, где захочет. Кстати, слышал я, что для китайцев все наши — люди ва. Что бы это означало?

Они задумались, обидное ли это прозвище или, напротив, почётное. «Ва» — звучит вроде бы неплохо! Хотя немного коротковато. Хотелось бы длиннее на пол-сяку.

— Ва-а-а-а, наша лачуга! — воскликнул ямабуси. — А когда-то здесь хранились сокровища императрицы Комё, которые она жертвовала

храму Большого Будды за упокой души её супруга — императора Сёму.

Среди деревьев стоял бревенчатый домик, поднятый на трёхметровых столбах. Ни лестницы, ни двери. То ли гигантский улей, то ли огромный скворечник. Словом, подходящая обитель для крылатых тенгу.

Сяку Кэн, заткнув весло за пояс, вскарабкался по столбу, — интересно увидеть место, где лежали некогда сокровища императрицы. Он еле протиснулся в узкий лаз. Внутри было немногим просторнее, чем в дупле криптомерии, и царила изумительная деревянная пустота, как в древней разошедшейся бочке для купания. Закатное солнце, отыскивая щели, едва намечало в полумраке короткие бледные линии. Казалось, это следы давно пролетевших ангелов.

Вдруг Сяку Кэн почувствовал, что на него кто-то смотрит, чья-то живая душа. Она бесшумно вышла из угла, потёрлась о ногу и протяжно вымолвила: «Ми-и-и-к-э-ш-а-а». Только одно существо в мире могло так разговаривать. Он поднял старую Микэшу, как в детстве, посадил себе на плечо, и кошка замурлыкала в самое ухо, будто вода в котелке закипала. Микэшка вспоминала былое, извинялась за царапины, за грозное шипение и за долгие отлучки, когда Сяку Кэн рыскал по всей округе, думая, что её похитили лесные духи якши. Мама и папа утешали его — говорили, что кошка всегда возвращается домой. И это, конечно, чистая правда, если есть дом. А когда вернуться некуда? В тот горестный день приятель Ноздря подобрал её. И они вместе путешествовали по миру. «Ох уж

эти китайские коты! — фыркнула Микэшка. — Хуже пиратов!»

— Ну вот, уже поговорили! — залез в домик Ноздря. — Микэша особенная кошка — тебя не забывала, знала, что ты жив-здоров.

Когда к ним присоединился ямабуси Энно, стало так тесно, что едва смогли улечься на полу.

— В общем-то, все мы — духи, — зевнул ямабуси. — Иначе ни за что бы не поместились в этом сундуке. Да ещё с веслом! Надеюсь, никуда не поплывём в ближайшие часы...

Ночь прошла беспокойно. Кто-то из духов отчаянно храпел. Домик скрипел всеми брёвнами, словно плот на горной реке, а под утренним ветром принялся так раскачиваться — вот-вот пустится в пляс.



БРОНЗОВОЕ ЗЕРКАЛО, КАМЕННАЯ БАШНЯ



яку Кэн открыл глаза. Перед ним на западной стене висело бронзовое зеркало, мутное и пыльное, ничего не отражавшее. А когда-то, очень может быть, в него гляделся сам император Сёму.

— Погоди, сейчас взойдёт солнце, — услышал он голос Ноздри под боком. — Если безоблачно, ты увидишь, что случится...

И вот первые лучи скользнули в домик. Ощупывая ветхие брёвна, коснулись зеркала, растеклись по нему, наполнили светом, оживили, и оно внезапно засияло само по себе. Груда чудодейственных камней мани — все сокровища императрицы Комё — возникла в нём. Бирюзовые, изумрудные, рубиновые. Чёрные, как беззвёздное небо, и прозрачные, словно бегущая вода. Каждый величиной в пять сяку.

— Это не сон и не порождение нашего разума, — шепнул Ноздря. — Потрогай — они настоящие. Может, это грех, но я уже взял отсюда четыре камня.

— Когда говорят о грехах, мне не до сна! — приподнялся ямабуси. — Успокойся, братец, священное зеркало видит душу человека. Оно не даст тебе лишнего, но ровно столько, сколько нужно для дела.

Ноздря подполз к прозрачно-волнистому камню.

— Ещё вот этот — последний!

Сяку Кэн всё же склонялся к тому, что это сон. В хлипкой лачуге, едва стоящей на сваях, где им самим-то тесно, не могла поместиться такая гора камней.

Ямабуси хлопнул его по плечу:

— Эй, очнись, человек-волна! Что ты лежишь, как потерянное весло, которое не знает, куда грести?! Помоги Ноздре — ему одному не справиться. Да скорее возвращайся — будем крепить нашу обитель, а то качается, как пьяный бонза.

Камень оказался тяжёлым. Еле-еле вытянули из домика, спустили на верёвках и потащили куда-то.

— Тут совсем близко,— говорил Ноздря, отдуваясь.

Они вышли из леса, и на холме среди цветущей индийской сирени Сяку Кэн увидел высокую, больше двух кэнов, разноцветную башню дайгоринто, сложенную из затейливо обтёсанных камней,— такие обычно воздвигали над могилами родных.

— Здесь лежат мои братья и твоя мать Тосико,— сказал Ноздря.— Я похоронил их рядом, так что башня одна на всех. Уже который месяц строю. Осталась макушка. Их душам, когда захотят, будет легче спускаться на землю и возвращаться на небеса.

Сяку Кэн прислонился к башне и поглядывал то вверх, то вниз, будто прикидывал на глазок расстояние от неба до земли,— сколько дней пути?

— Вряд ли туда долетишь на ракете,— вспомнил он кое-что из прежней жизни.

— Не знаю, о чём ты,— улыбнулся Ноздря.— Лучше погляди на дайгоринто! В основании чёрный квадрат — символ земли. Над ним изумрудный, будто струящийся, круг — вода. Выше рубиновый треугольник — горячий, как огонь.

Его покрывает бирюзовый полумесяц — это ветер. А увенчает башню шар с заострённой верхушкой, вроде луковицы, который я вырублю из прозрачного камня. Догадайся, что он означает?

— Не знаю, — улыбнулся Сяку Кэн. — Чем голу ломать, пойду укреплять наш домишко — не то его и вправду унесёт бирюзовым ветром.

Он отошёл уже довольно далеко, когда услышал голос Ноздри:

— Я скоро вернусь! А как закончу башню, отправлюсь странствовать на запад, за моря!

Сяку Кэн обернулся и помахал рукой.

Может, камни мани, сложенные вместе, действительно умирляли стихии? Потому что в лесу было куда беспокойней, чем на открытом месте у башни: не только деревья стонали от ветра, выгибаясь, как прутьики, но и сама земля вздрагивала и гудела. Лачуга кряхтела, потрескивала, приседала, переминаясь с ноги на ногу, как загнанная ослица. Ямабуси спешно вкапывал «пасынков» рядом со сваями, чтобы хоть как-то их поддержать.

— Когда старушка умирает, не надо ей мешать, — сказал он, завидев Сяку Кэна. — А эта милая хибарка, клянусь, отжила своё. Микэша первая догадалась и смылась оттуда. Пора выносить остальное имущество — зеркало, мои шаманские коробки да твоё весло.

С трудом они влезли в дом, который ежедневно содрогался, будто от икоты. Сяку Кэн уже потянулся к священному бронзовому зеркалу, да оно само внезапно скакнуло со стены мимо рук. Проломило пол и, сверкнув на солнце, растворилось, как и не было его.

— Дурные знаки! — побледнел ямабуси.— Мало того, что кошка ушла, земля трясётся, так ещё и зеркало сгнуло. Хотя я кое-что разглядел напоследок. Прыгай, человек-волна, в эту дыру и беги к Ноздре — может, поспеешь! — и раковина на его груди, наглотавшись ветра, вдруг заревела, как олень в осеннем лесу.

Даже с тяжёлым камнем дорога до башни показалась недолгой, а с одним веслом Сяку Кэн мигом домчался.

Вот холм, поросший индийской сиренью! Но где же разноцветная башня дайгоринто?!

Он споткнулся о холодный рубиновый треугольник. Увидел поблизости похожий на застывший родник изумрудный круг и притихший бирюзовый полумесяц. Точно мощное землетрясение разбросало все камни.

На чёрном лежала отсечённая голова Ноздри. А поодаль тело его руками и ногами обхватило скользкий ствол индийской сирени, так и не успев взобраться по нему.

«Мудрость — это ловкость ума,— говорил Ноздря,— и она часто мешает ловкости тела».

Сяку Кэн глубоко вздохнул и зажмурился, стараясь убедить себя, что мир — всего лишь порождение разума. Он представил целую, невредимую башню и Ноздю, вырубавшего из прозрачного камня шар в виде луковицы. Ему даже послышались звонкие, короткие удары молотка по зубилу. Под курткой, чихая и царапаясь, забеспокоился Дзидзо.

Сяку Кэн улыбнулся и открыл глаза. Перед ним стоял громила самурай, принадлежащий, судя по одежде, к роду князя Фарунаги. Длин-

ные налимьи усы лежали на плечах. Единственный глаз на рыбьем лице глядел с тупой отвагой хозяина придонных коряг. Постукивая обнажённым мечом по металлическим чешуйкам, укрывавшим грудь и бёдра, он мрачно ухмыльнулся:

— Куда бросить твою голову, бродяга? Если очень попросишь, можно и на чёрный камень, чтобы перемигивался с приятелем!

Сяку Кэн потупился, делая вид, что задумался, где будет удобнее его отрубленной голове.

— Ты великий и милосердный воин,— он поморщился,— да уж слишком воняешь тухлой рыбой! Поэтому я не могу позволить тебе распоряжаться моей головой.

Самурай рявкнул и так махнул мечом, что разрубил бы, вероятно, и трёх слонов, окажись они поблизости. Однако откуда взяться слонам на острове Хонсю, в долине Ямато? Единственный слогоголовый Ганеша, и тот далеко, в ущелье тенгу. А Сяку Кэна такие приёмы фехтования разве что забавляли. Бодучая корова, пожалуй, ловчее и опаснее этого надменного самурая. Впрочем, низко и недостойно издеваться над противником, каким бы скотиной он ни был! Постыдно превращать бой в игру.

Сяку Кэн перехватил весло обеими руками, словно боевой меч тати. Легко увернувшись от очередного глупого наскока, зацепил самурая по руке так, что она хрустнула. А в следующий миг обрушил на рыбу башку сокрушительный «удар грома». Взметнулись усы, закатился единственный глаз, и самурай, зазвенев железной чешуёй, пал на землю. Он хрипел, пытаясь что-то сказать, и Сяку Кэн склонился над ним.



— На роду... пи-пиписано,— сипел он, затихая.— Не от меча... с-с-гину... от дерева...

— Моё имя Рюноскэ! Дракон! — прокричал ему на ухо Сяку Кэн.— А убил тебя меч Быстрой волны! Запомни и Расскажи всем в аду! — и от-вернувшись, пошёл прочь.

Ещё до захода солнца он схоронил приятеля Ушиваки по кличке Ноздря рядом с его братьями и своей матерью. «Было зеркало, и нет его. Была башня, и нет её. Многие были, и нет их,— думал Сяку Кэн, возвращаясь в сумерках к лачуге.— Были, и нет! Те, кто встречаются, рано или поздно расстаются, как говорил мой папа».

— А мы пока тут,— вышел навстречу ямабуси Энно с Микэшкой на руках.— Ветер затих, и земля успокоилась. И обитель наша цела. Только вот в храме у Большого Будды голова отвалилась...

Они долго сидели у костра, вспоминая Ноздю.

— Теперь он в пути на запад, за море,— говорил Сяку Кэн, выстрегивая из весла боевой меч.— У меня с ним много общего. Что-то переходило от него ко мне и обратно.

Ямабуси подбрасывал сучья в огонь, поглаживал кошку и кивал, соглашаясь:

— Верно-верно. Я видел это в бронзовом зеркале. У вас есть доверие к судьбе и покорность неизбежному, стойкость перед бедой и дружеское отношение к смерти. Вы настоящие самураи!

Сяку Кэн замер, глядя в костёр. Ему мерещился рубиновый треугольник из башни дайгоринто.

— Сегодня я убил человека. И это было так просто, что стало жутко. Конечно, есть что-то большее, чем жизнь. Я хочу верить, а Ноздря точно знал.

Наверное, старый бродяга ямабуси кидал в огонь какие-то колдовские травы и корешки — Сяку Кэна словно подхватила лёгкая быстрая волна и подняла так высоко, что костёр едва виднелся маленькой звёздочкой.

— Ты как хрупкое зеркало, в котором отражаются несокрушимые камни мани,— ветром долетал до него чей-то бирюзовый голос.— Знаешь ли, от кого императрица Комё получила их? Она приняла обет — совершить омовение тысячи больных и немощных. Последним оказался прокажённый, весь в чудовищных язвах и струпьях. Содрогаясь, Комё омыла и его. Тогда он воссиял, одарил императрицу и скрылся в небесах.

Волна опустила Сяку Кэна на землю.

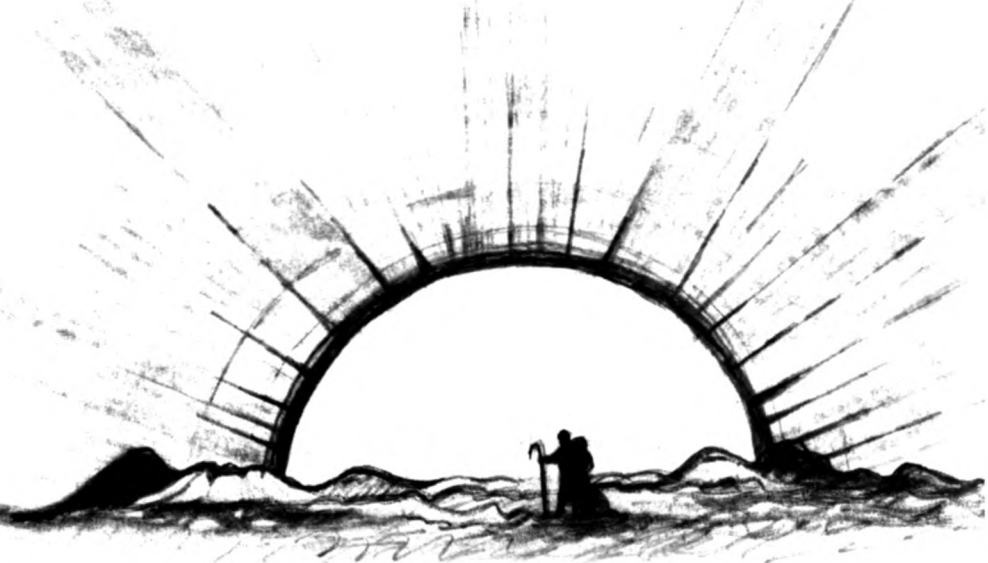
— Кто же это был?

— Нет прямого ответа,— усмехнулся ямабуси.— Думал, ты скажешь! Возможно, лучше не называть его. Ведь у каждого имени, у каждого слова есть свой дух. А тот, кто явился императрице, выше всякого духа.

— Завтра я уйду,— задрёмывая, сказал Сяку Кэн и склонил голову на деревянный меч.— Сделай одолжение — оставь себе Микэшу.

Он так и заснул у костра, а ямабуси всё продолжал говорить, и эти речи снились Сяку Кэну. Многое узнал во сне. Может, потому, что спал последний раз в нынешней жизни.

Ямабуси Энно восстановит над могилами башню дайгоринто, а потом уйдёт в горные пе-



щеры, там его место, и будет при нём вместо шаманки Микэшка. А Ганеша разыщет в космическом времени свою прежнюю голову, но предпочтёт остаться со слоновьей. Подрастает Нобунага Ода, который прекратит безумную войну всех против всех. И даже маленький Токугава уже два года живёт в этом мире, не думая и не гадая, что род его будет править страной двести пятьдесят лет. А человек-волна по имени Рюноскэ не погибнет от меча. Его ужалит насмерть какой-то странный шмель или оса.

Задолго до восхода солнца, когда костёр прогорел, Сяку Кэн собрался в дорогу. Ямабуси похрапывал, а у него под боком приютилась кошка.

Сяку Кэн так и не зашёл в деревню, где родился ровно двадцать четыре года назад. Он даже не обернулся ни разу. Путь его был прям и скор, как меч Быстрой волны, выточенный из весла, бывшего ветвью криптомерии.

В середине августа, в день поминовения усопших, когда уже зацветал лотос, Сяку Кэн шёл по старой дороге к поместью князя Фарунаги. Последний раз он проезжал здесь на лошади с папой Ясукиги. Мало что переменялось вокруг. Вот здесь папа скакал на четвереньках, изображая зайца. А тут среди деревьев впервые мелькнул Ганеша под зонтиком-привидением. Всё та же мелкая стремительная речка у стен поместья. Только теперь Сяку Кэн легко перепрыгнул её.

Сам-то он, конечно, изменился. Не просто подросток до кэна, но вырос в Рюноскэ.

Ворота были заперты. Впрочем, Сяку Кэн и не думал стучаться или поджидать, когда забьют барабаны, чтобы выпустить служащих самураев.

Пробираясь в бурьяне под стеной, он заметил, что вся земля вокруг усеяна растерзанными тыквами, будто кто-то в ярости дубасил по ним молотком. «Порядочность и добродетель — твой путь! — припомнил чьи-то слова, то ли приснившиеся, то ли слышанные наяву, и добавил от себя: — Среди чертополоха!»

Он потревожил множество ос, и они рассерженно вились над головой.

«Глупо погибнуть прямо сейчас от их укусов, — усмехнулся Сяку Кэн. — Один человек-волна сломал себе шею на ровном месте, другого заели осы. Хорошая пойдёт молва! Ну не отбиваться же от них мечом, хоть и это возможно».

Высмотрев подходящее место на стене, Сяку Кэн, преследуемый осаами, перемахнул её быстрее любого тенгу и оказался на крыше конюшни.

Отсюда был виден весь двор. Кузница, кухня, дома знатных самураев, дворец князя Фарунаги.

Вольеры с птицами и животными. Тенистый сад на берегу пруда. Сейчас там пировали за обширным столом какие-то важные гости. Поблёскивали позолоченные чашечки, мисочки, палочки и длинные золотые ложки. Чего там только не было! Мясо, фрукты, овощи, икра морского ежа и удивительные моллюски из южных морей.

Однако ничто не могло сравниться с господином Фарунагой. Даже сидя, он возвышался над столом, как великая пагода. Лицо ещё более отяжелело и напоминало неподъёмный булыжник. На специальной чёрнолаковой табуреточке возлежала его новая негнушаяся нога, изготовленная взамен отсечённой. Неизвестно, из какого дерева, но разукрашена, словно императорский посох.

Сяку Кэн вдруг вспомнил учение о четырёх благородных истинах. Существует страдание. Его причина. Освобождение. И путь к нему. Кажется, он прошёл этот путь. Так жалок и ничтожен обрюзгший хромой пузан, мыслящий себя великим князем даймё! Убить его — всё равно что раздавить жабу...

Сяку Кэн поморщился и отвернулся. Взгляд его упал на церемониальную площадку, где расстались с жизнью старый Дзензабуро и папа Ясукиги. Именно на том месте образовалась невысыхающая лужа.

Он ясно вспомнил, как, наливаясь кровью, краснели белые единороги. Как папа выдернул меч из живота и повалился на бок, поджимая к подбородку дрожащие колени.

Оставив благородные истины на крыше коюшн, Сяку Кэн прыгнул на ближайшее дерево и сполз по стволу. Кто знает, какие силы управ-

ляют человеком вопреки его воле и желаниям? Он, к примеру, хочет прямо, а его тянут вбок. Как неумолимо и стремительно накатывает волна на утлое судёнышко, так Сяку Кэн очутился у праздничного стола. Никто и пошевелинуться не успел.

В глазах Фарунаги мелькнули и удивление, и гнев, и ярость, и ужас мелкой собачонки, оказавшейся в медвежьих лапах. Сяку Кэн ухватил его за длинный локон, кокетливо свисавший на плечо, и потащил к той смертельной площадке. Стучала по камням деревянная нога, а булыжное лицо превратилось в дряблый студень.

Красные драконы полыхали огнём на куртке Сяку Кэна, и господин Фарунага начал тихонько попискивать, пускать пузыри, пытаясь выговорить нечто членораздельное: «По — пу — па — ща — ши — дя — ди!»

Сяку Кэну стало противно. Он бросил Фарунагу в лужу, как мешок, набитый мусором, который и вспарывать-то глупо, — известно, что посыплется. Да и трогать ни к чему, зря! Отряхивая ладони, он воскликнул:

— Знай, я ронин, человек-волна по имени Рюноскэ! Сын самурая Ясукити!

Он вёл себя так, будто во дворе никого. Однако княжеская стража уже пришла в себя — люди с обнажёнными мечами, с алебардами и луками надвигались со всех сторон.

Сяку Кэн выхватил из-за пояса тяжёлый деревянный Меч быстрой волны и бросился вперёд, коля-рубя направо и налево. Как в детстве, когда, наслушавшись маминых рассказов о войне Гэмпэй, представлял себя неуязвимым в гуще схват-

ки. Ловко орудуя мечом, он отражал любые удары, а сам оглушал противников и сбивал с ног. Продрался сквозь толпу стражников-самураев. Распугал конюхов, кузнецов, поваров.

Внезапно перед ним возник сам знаменитый учитель фехтования Фукаи.

— Почёл бы за честь, — поклонился Сяку Кэн, — да, увы, нет времени! — и обезоружил его приёмом «пируэт ласточки». Почтенный Фукаи взмыл в воздух, как циркач, и рухнул, опрокинув обеденный стол.

Сяку Кэн уже взобрался на стену, но обернулся неизвестно зачем. Верный Дзидзо крикнул, расколовшись надвое, но сумел отразить стрелу, направленную прямо в грудь.

Не опасаясь погони, Сяку Кэн шёл к опушке леса. Будто быстрая волна замедляла свой бег, чуя близкий берег. Он даже приостановился, пытаясь соединить две половинки Дзидзо. С тех пор как мама Тосико подвесила его на ленточку, завязав особый узелок на шее, они не расставались. Как же быть без духа-охранителя? И не успел он так подумать, как что-то обожгло спину. Оса? Или шмель?

Долетел грохот ружейного выстрела.

«Откуда здесь винтовки? — удивился Сяку Кэн, ощущая дурноту и слабость. — Скорее всего, оса! Или шмель...»

Конечно, винтовки тут были ни при чём. Да и осы тоже. Если на время забыть о шмелях, то можно точно сказать — всё дело в мушкетах.

Сяку Кэн не знал, что с год назад к острову Хонсю пристал фрегат из Португалии и господин Фарунага купил для пробы несколько

тяжёлых, длинных мушкетов. Впрочем, из его самураев не много нашлось охотников до этих «огненных труб»: так воняло порохом, закладывало уши и било в плечо, что пули улетали неведомо куда. Лук и стрела вернее — так считали опытные самураи.

Лишь один, по кличке Шмель, пристрастился к пальбе по мишеням. Ему вообще было одиноко — с ним редко общались. Потому что когда он говорил, слышалось одно назойливое, будто шмелиное, жужжание. И это с тех пор, как одна баба, одержимая лисой, пронзила ему горло дротиком. Он раскладывал тыквы под каменной стеной поместья и стрелял с тридцати шагов. Но постепенно отходил всё дальше и дальше, а тыквы брызгали от ударов тяжёлых пуль, разлетаясь в стороны, как оранжевые фейерверки. Это было очень забавно. И сам господин Фарунага поощрял самурая-мушкетёра. «Они созданы друг для друга, — шутил он. — И пуля, и стрелок жужжат отменно!»



Шмель и понятия не имел, в кого целится. Видел среди деревьев куртку с красными драконами, а представлял, что это очередная тыква. Зато попав, разжужжался на радостях, как целый шмелиный выводок.

Но счастье его было коротко, поскольку Сяку Кэна в лесу не нашли. Если бы Шмель знал, чей это сын, то не думал бы о тыквах. Прицелься лучше — и его бы ждало повышение по службе при дворе князя Фарунаги.

Хотя в своё время мама Тосико тоже могла бы быть поточнее.

П

ПУЛЯ

Пуля прошла почти навывлет, но всё-таки застряла под правой ключицей. Сяку Кэн кое-как ещё мог идти, опираясь на Меч быстрой волны. Он перевязал рану, но кровь не останавливалась.

Ночь провёл в дупле криптомерии, а на рассвете понял, что вскоре умрёт. Ямабуси Энно всё знал наперёд.

«Во мне сидит пуля,— размышлял Сяку Кэн.— Но буду думать, что шмель. С ним легче договориться, чем с куском свинца».

Сяку Кэн решил, что человек-волна должен хоть раз в жизни увидеть настоящие волны. А чтобы добраться до них, надо одолеть отроги гор Кии,— тогда он попадёт на побережье Тихого океана.

Позволит ли рана со шмелём? Она так ноет и щемит, что гонит прочь сознание. Сяку Кэн уже не раз терял его и удивлялся, очнувшись,— где это он, зачем в лесу, кого опять ищет?

Тогда он рассказал своей ране, что непременно умрёт. «Не беспокойся,— убеждал её,— ты вполне смертельная. Однако позволь увидеть океан. Чем быстрее дойду, тем быстрее умру. Иначе буду сопротивляться».

Ему удалось заговорить рану. Она приутихла, перестала мучить — зачем, если человек без борьбы, по собственной воле обещает оставить этот мир?

Сяку Кэн больше не терял сознание, хотя оно как-то расщепилось: то казалось, что Ганеша поддерживает его хоботом, то виделся Ноздря с бронзовой головой Будды на плечах. Камни шевелились под ногами, и он слышал их голоса. Мурлыкали травы, и как трубы гудели на раз-

ные лады дерева. Особенно запомнилась песня древних папоротников: «В стране Хацусэ, скрытой среди гор, клубится облако, плывя между горами. Быть может, это облик дорогой от нас ушедшей юной девы?»

Удивительно, но Сяку Кэн перебрался через холмы и горные отроги, отделявшие маленькую долину Ямато, где он прожил два года Дракона, от Великого водного пространства.

Солнце быстро скрывалось за скалами; появился бледный полумесяц, а впереди, как тяжёлый свинцовый лист, лежал громадный Тихий океан.

Казалось, он неподвижен.

Спустившись по козьей тропе и миновав песчаные дюны, Сяку Кэн вышел к воде и ощутил особенный бирюзовый ветер, падавший с небес. И волны, волны, волны одна за другой будто подкрадывались к берегу, стелясь по песку. Тихие, кроткие волны. Здесь был залив и разбежаться от души им не удавалось. Едва слышалось их кошачье урчание: ро-нин, ро-нин. Так перекачивались и сталкивались камешки, уносимые водой, волнуемые океаном.

Сяку Кэн почувствовал себя гораздо лучше. Наверное, мог бы обмануть рану и жить-поживать дальше. Так хорошо было сидеть на плотном песке. Просто глядеть по сторонам и дышать. Для чего ещё жизнь?

Но если самурай дал слово — это его честь, которая превыше всего на свете. А Сяку Кэн, человек-волна по имени Рюноскэ, обещал умереть, увидев океан.

Он вспомнил рассказ мамы Тосико о том, как наёмный убийца, пронзив копьём самурая, вос-

кликнул: «Какую зависть к свету жизни должны испытывать сердца в подобный миг!» На что умирающий ответил с улыбкой: «Но разве не были они в часы покоя научены смотреть на жизнь легко?»

В долине Ямато, вероятно, ещё светло, а тут, на берегу, смеркалось. Волны чернели, крепили, на них появлялись белые гребешки.

А глаза Сяку Кэна заполняла темнота. Он подумал, что эта жизнь прошла живее прежней, в которой всё было удобно, спокойно, но скучно до тоски. Теперь же будет что рассказать в следующей, если ангел при рождении не шлёпнет его по устам, не лишит памяти. Жалко было бы её потерять!

Стремительной волной пронёсся он от берега до берега этой жизни. Душа уже собрана в путь до Чистой земли. И Дзидзо повёл его за руку по длинной узкой косе, поросшей соснами и словно уходящей в небо. «Это и есть Небесный мост», — шепнул защитник и покровитель путешественников.

Сяку Кэн улыбнулся точно так же, как в день, когда, появившись на свет в семье самурая Ясукити, увидел восходящее солнце. Он успел понять, что прозрачный шар в виде луковицы, который увенчает башню дайгоринто, — это пространство. И тотчас устремился к заострённой вершине, уводящей в иные миры.

Тень скользнула по его лицу, и Сяку Кэн умер как самурай, как человек-волна, — без сто-на и с улыбкой, не выпустив из рук деревянный меч.





ЧЕШУЯ КАРПА СЁМУ

Примечания

огда выловили старого карпа Сёму, то диву дались — на каждой чешуйке иероглифы. Мудрено было их разобрать. Однако в соседнем буддийском монастыре нашлись учёные люди. Они прочитали не только рассказ о человеке-волне, Сяку Кэне, но и примечания карпа, где в общих чертах изложена история Японии и самурайства. Вот некоторые выдержки оттуда.

Письменность в виде иероглифов пришла в Японию из Китая в пятом веке, а с десятого века их графический облик начал меняться.

Если китайцы называли японцев — *люди ва*, то сами японцы именовали себя — *ниходзин*, а свою страну — *Ниппон* или *Нихон*.

Вся Япония располагается на островах, которых около четырёх тысяч, из них четыре крупных: Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку.

В Японии исповедовали синтоизм — путь богов. Обоожествлялось буквально всё в окружающем мире: растения и скалы, ручьи и реки, ум человека и его физическая сила. А особенно — умершие. Божества, или духи, Ками, присутствовали повсюду. Любое слово имело свой дух, который назывался *котодама*. Пришедший из Индии буддизм, видоизменяясь, более или менее мирно уживался с изначальной религией.

Японцы ведут свой род от богини солнца Аматэрасу. И первым императором государства Ямато стал её прямой потомок Дзимму — в 660 году до нашей эры по японскому и в 35 году до нашей эры по общепринятому исчислению.

Императора в Японии считают властителем по воле богов и называют *тэнно* — «повелитель всего сущего», «сын неба». Ему воздавали почести божества.

Есть сведения, что сначала в Японии правили женщины-шаманки. Известна царица Химико, которая ещё в третьем веке занималась колдовством и всячески обманывала простой народ.

Считается, что единое государство в Японии образовалось в середине седьмого века нашей эры. До той поры хозяйничали крупные княжеские фамилии, которые не слишком прислушивались к воле законных правителей.

До начала восьмого века в Японии не было постоянной столицы — после смерти очередного императора её переносили в новое место. Первой столицей, просуществовавшей семьдесят четыре года, стал город Хэйдзё, который теперь называется Нара. Центральная столичная улица была шириной в 90 метров и делила город пополам. Главные городские ворота назывались Расёмон. Проживало в столице около ста тысяч человек.

В Хэйдзё и правил император Сёму, живший с 701 по 756 год. По его велению воздвигли гигантского бронзового Будду, в ноздре которого и заснул как-то Ушиваки. В 748 году император отрёкся от престола и ушёл в монастырь. Император Сёму начертил однажды кистью: «Пока процветает мой храм, будет процветать и страна; придёт в упадок мой храм — гибель ждёт и страну!» А писали тогда — объявления, послания, указания — на небольших деревянных дощечках *мокканах*.

В конце восьмого века столицу перенесли в город Хэйан, город «мира и покоя», ныне Киото.

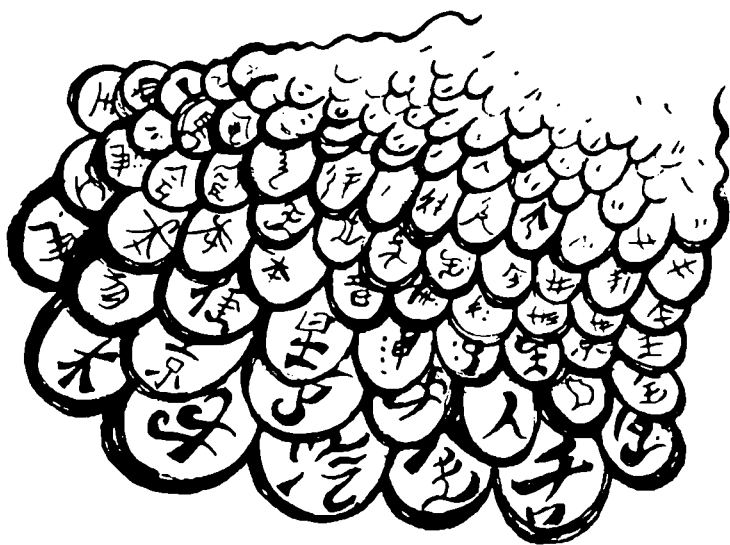
Жилой дом среднего чиновника обычно был площадью семь на пять метров. На тонких, врытых в землю столбах крепились деревянные рамы. Крыша — из бамбуковых жердей, крытых соломой или дранкой. Пол земляной, и никакой мебели, если не считать полок для глиняной посуды. Богатые дома отличались черепичными крышами. Крестьяне часто жили в полуземлянках.

Ещё в раннюю эпоху Японской империи для охраны границ создавались семейные военные отряды, называемые *бусидан*. Их членов, *буси*, которые исповедовали жестокую, но благородную воинскую самодисциплину и добродетельную жизнь, можно считать первыми самураями.



Сам кодекс *бусидо*, или путь воина, сложился только в четырнадцатом-пятнадцатом веках. Его строгим моральным требованиям должен был следовать каждый самурай. Единственное занятие, достойное самурая, — военное дело. Личная преданность и послушание — вот источник отчаянной храбрости и бесстрашия самураев. Высшая ценность — личная честь и честь дома. Бесчестный поступок — страшный, непереносимый позор; лучше расстаться с жизнью.

Сеппука, или *хакакири*, возникла как традиция в двенадцатом веке. Вспарывая живот, представляли, что именно там находятся душа, ум, характер, чувства и самые сокровенные мысли. Самоубийца как бы говорил: «Я не виновен, но хочу показать вам свою душу, чтобы сами в этом убедились». Самураи предпочитали самоубийство плену и позору бесчестия. Одно время стало так много самоубийств, что правительство сёгуна запретило *хакакири*.



Самураи убеждены в своём превосходстве над другими людьми и ни на минуту не забывают об этом. С побеждёнными они обращались равнодушно или безжалостно. Впрочем, всё зависит от человека — самурай мог проявить и снисхождение, и сострадание, и даже уважение.

Изначально самураи были сельскими жителями и брались за оружие только тогда, когда приказывал господин — князь *даймё*. За службу самураям выделяли земельные участки с прикреплёнными к ним крестьянами.

Знатные князья, крупные землевладельцы создавали отряды в сотни и даже тысячи хорошо обученных воинов-самураев. Самыми могущественными были дома Тайра и Минамото, подчинившие себе огромные территории. Между ними и началась кровавая война Гэмпэй, бушевавшая с 1180 по 1185 год. В итоге Минамото наголову разбил войска Тайры.

Впервые упоминают о японских рыцарях-самураях в 792 году. А ровно через четыреста лет, в 1192-м, к власти пришёл Ёритимо Минамото, выходец из самурайского сословия, объявивший себя потомком бога войны Хатимана. Священная персона императора была неприкасаема, но реальной власти он лишился — на его долю остались религиозные ритуалы и официальные приёмы при дворе.

С конца двенадцатого века, почти семьсот лет, Японией правили три самурайских династии — Минамото (1192–1333), Асикага (1335–1573) и Токугава (1603–1867). Верховный правитель носил титул *сёгун* — «главнокомандующий». А при нём был военный совет — *бакуфу*.

Сыновья сёгуна и других высших представителей самурайского сословия учились в государственных школах, где изучали, помимо боевых искусств, математику, медицину, фармацевтику, философию, поэзию, музыку и каллиграфию. Знатные молодые самураи были весьма образованными людьми.

В 1333 году император Годайго попытался вернуть власть, но проиграл и бежал в горы Ёсино.

В пятнадцатом веке власть верховного сёгуна из рода Асикаги ослабела. Мелкие тщеславные князьки создавали собственные отряды самураев и нападали на соседей. Клятвопреступления и бесчестные поступки стали обычным делом. Началась настоящая гражданская война. Она длилась почти сто лет, с 1478 по 1577 год, и получила название «эпоха воюющих провинций», или «война всех против всех». Сяку Кэн жил как раз в эту пору.

Страна во время столетней войны разваливалась на части. Спасителем стал Нобунага Ода. Он подчинил центр со столицей Киото, а в 1573 году сверг последнего сёгуна из рода Асикага. Однако девять лет спустя в одном из храмов Киото его окружили мятежники во главе с генералом-предателем. Нобунага совершил харакири.

В 1603 году к власти пришёл сёгун Иэясу Токугава. Его династия перенесла столицу в город Эдо, ныне Токио, и правила более двух с половиной веков. Всё это время мир царил в Японии.

ПРИЛОЖЕНИЕ



И ГУСИК

Это только кажется,
что ничего нет

ных видишь сидящими, едящими или большей частью лежащими, а Гусик напоминал неугомонную птицу, вроде стрижа, который, кажется, только и делает, что носится над землёй.

Ранней весной в середине шестидесятых он влёк меня от Красных ворот на Абельмановку. Точно было солнце и капель.

Путь усложнялся, поскольку Гусика притягивали все ближайшие газетные ларьки.

В тени высоты на Каланчёвке напротив Лермонтова — может, того ещё и не было? — он распахнул свежий номер «Огонька». На ослепительно-глянцевой странице протянулась узенькая чёрная колонка, некая струйка утекающей зимы — «метели летели, метели мели»...

Он быстро пробежал глазами первое своё стихотворение, напечатанное в таком большом журнале. «Конечно, могли бы побуйствовать и на целый разворот», — усмехнулся вслед скоро уставшим метелям и превратил журнал в подзорную трубу, куда, пожалуй, уже стремились другие ветры, вроде осеннего листобая, и решился поблизости то ли памятник Михаилу Юрьевичу, почти ровеснику, то ли сам небесный охотник Орион, взиравший с небес на беглых недопёсков.

«Должен сказать, — заметил Гусик, — что я просто радуюсь и удивляюсь тому, что научился когда-то читать и писать. Горжусь про себя этим умением, чего и тебе желаю. Ну-ка, почитай, что я задавал! Выучил, отрок?»

«Трусоват был Ваня бедный, — сообщил я. — Раз вечернюю порой, весь в поту, от страха бледный, чрез кладбище шёл домой»... И когда дошёл до конца, где выяснялось, что это не вурдалак на могиле, а собака, счастья сразу прибыло тем весенним днём.

Словом, к Пушкину Гусик подвёл меня не с парадного, а как-то сбоку, представив сразу увлекательным, так что погода и «мой дядя самый честных правил» не заставлял скучать.

В полуподвале на Абельмановке было полутемно, и казалось, в кухонном углу кто-то кость ворча грызет. Гусик набрал чайник, цыкнув на кран, и тот примолк.

Заманчиво пахло маслом в тюбиках и скипидаром. Картины на стене были ярче окна. На одной раскраснелся давно, видно, кипевший чайник. Другую занимала огромная крона дерева с двумя невиданными плодами.

«Портрет Анны Ахматовой. Величайшая!» — пояснил Гусик.

И с тех пор всякая настоящая поэтесса представлялась мне именно такой — мощной, как старая, дивно и обильно плодоносящая антоновка.

Составленными им колерами в баночках я рисовал на бумаге каких-то зверей, от бегемота и жирафа до козла в огороде, и Гусик выставлял оценки, низшей из которых была гуманная четверка.

Рядом с домом в Хоромном тупике, где он родился и жил тогда, находилось первое в Москве стеклянное кафе «Чудесница». Нередко мы заходили туда и поедали сосиски с кукурузой или

зелёным горошком. Вкуснее ничего, кажется, не было.

«Жаль только, что сосиски без костей, — сказал как-то Гусик. — Поглотать хорошую кость, особенно рыбую, вот наслаждение!»

Он всегда почтительно относился к рыбе. А приготовление ухи из пойманных самолично вологодских горбатых окуней вкупе с поеданием оборачивалось чистым шаманством.

«На твоём месте я бы уже заготавливал сахарные косточки и читал кинологическую литературу, — продолжал на улице. — Вчера повстречал на птичьем рынке милейшего разговорчивого сеттера, который изъявил желание пойти к тебе на службу, — к Александру, говорит, с превеликим удовольствием. Думаю, он прав. Ты уже созрел для собаки. Кстати, когда Пушкину исполнилось пятнадцать, его стали называть полным именем. Вот и я буду звать тебя Александром. А ты, просьба нижайшая, не кличь меня принародно Гусиком. Знаешь ли, у посторонних людей возникает слишком много вопросов — мудрено разъяснять!»

Это птичье имя выпорхнуло когда-то совсем случайно. В подмосковном саду Юра писал бревенчатый дом и плодовые деревья, а я вертелся позади, легко отыскивая различия с натурой.

«Ну, ты и гусик!» — обернулся он в конце концов.

«Сам гусик!» — откликнулся я.

«Очень может быть!» — рассеянно кивнул он. С тех пор имя и прилипло к нему — лет на пять.

О, счастливые годы! С Гусиком я ощущал себя приголубленным щенком и готов был бежать



за ним куда угодно, внимающий каждому слову и незаметно для себя дрессируемый.

Я был вполне пустым сосудом и, кажется, дырявым. И Гусик от собственной избыточности наполнял меня всем, что под руку подворачивалось, — стихами, живописью, названиями трав, луговых цветов, созвездий и собачьих пород...

В Вологодской области, куда ездили на рыбалку, показывал, как ловчее тащить чуткого язя, убегая от берега наперевес с удилищем. Учил разбираться в грибах, ягодах и литературе.

Он вливал в меня Олешу, Бабеля, Зощенко и Платонова, Мелвилла, Джойса и Фолкнера, Юрия Казакова, Георгия Семёнова и Андрея Битова. Кое-что оставалось.

Мой первый литературный опыт под названием «Рыба и луна», который он посчитал достойным, сразу пристроил в журнал «Рыбоводство и рыболовство».

А я-то ему что мог дать? Да ничего, пожалуй, кроме преданности и дружеской любви.

Немудрено, что и в первой моей книжке сквозили Юрины интонации. Ведь он и правил своей рукой мои миниатюры, склоняя их ко всё большей краткости. Но чаще охватывал какой-нибудь абзац дугой и помечал на полях: «Переписать, разыграть, ничего не потерять, но приобрести»...

«Смотри на машинописную страницу как художник, — говорил он. — Она должна быть графически изящна, архитектурна, а не забита буквами сверху донизу, как мешок картошкой. Оставляй воздух для дыхания!»

С переменой имён наступили новые времена.

Иной раз Юра бывал так строг, что хотелось немедленно пожечь разруганный им рассказ или этюд. Впрочем, он же и останавливал: «Может, ошибаюсь. Кажется, есть пара точных слов, а в том уголке — проблески живописи. Отложи подальше, а потом сам разберёшься»...

Вскоре после того как я окончил школу, Юра договорился с друзьями, чтобы те взяли меня в археологическую экспедицию на черноморский остров.

«Знаешь, Саня, как раз в твоём возрасте я поехал в Геленджик зимой и жил там один и только и делал, что писал и рисовал. Привёз двадцать этюдов темперой на бумаге — они мне и сейчас нравятся, — наставлял он перед поездкой. — Остров для тебя должен быть этапом. Как Таити для Гогена. Вот лозунг. Уже в поезде записывай, как представляешь остров. Рисуй и пиши постоянно, ничему не отдавая предпочтения, но ни к коем случаю не простаивай! Кроме этюдов на больших листах, ты должен привезти очерк. Для себя и для меня. Очерк, который можно будет отдать в журнал «Вокруг света». Ничто на острове не должно ускользнуть от тебя: и работа археологов, и пейзаж, и то, что под ногами, в море и над головой. Ежедневная нацеленность: накапливай строчки и образы, не позволяй себе распускаться, чего-то не записать, — накачивал он меня, как резиновую лодку перед сплавом по горной реке. — Если кажется, что нечего записывать — всё равно надо записывать. Хорошо запомни — это только кажется, что ничего нет! Ну, ещё не пей вина, а выпив, не купайся в море. Покрывай голову и не стори в первые дни. Не

лезь в грязные истории. Дни и деньги трать бережливо»...

Вероятно, таким образом он и сам заодно настраивался на работу, что у него здорово получалось: коли не писал, так рисовал. Или рубил деревянную скульптуру, или же разучивал на гитаре пятый этюд Джулиани. Да и самое обычное выпивание вина обставлялось как-то любовно-художественно — с распахнутой душой и застольно-величальными песнями.

Юра был для меня не только учителем, но и, так сказать, путеводителем. Узнав, что я собираюсь поступать в геодезический институт, крайне удивился: «Что я слышу? Стыдись! Это совсем не твоё дело! Иди в реставрацию. Я уже поговорил о тебе с одним монументальным императором»...

«В каком смысле император?» — не понял я.

«В прямом смысле. Стал бы я общаться с проконсулом! На прошлой неделе мылся с ним в Теринских банях. После парилки он так царственно запахнулся простынёй с клеймом «ТБ» на пузе, что сомнений не оставалось — император Тиберий»...

Так очутился я под державным крылом Тиберия, побывав с ним во многих уголках нашей угасавшей уже империи, где то и дело требовалось что-либо реставрировать.

Понятно, что с Юрой мы виделись реже. Зато от него приходили письма — из Крыма в Белоруссию, из Переделкино в Самарканд...

«Дорогой мой племянник, сын и брат Александр! Пишу тебе письмо на обороте черновика рукописи «Монахов». Во-первых, экономлю бу-

магу, во-вторых — это романтично. Спасибо тебе за «Приму» и резиновые шлёпанцы. Поверь, что я немедленно надел эти шлепанцы и сунул в зубы «Приму». Всё оказалось весьма кстати, потому что за день до получения посылки я натёр на ноге огромный волдырь и ничего не мог натянуть на ногу, прибинтовывая оную к тапочку. А как получил твои шлёпанцы, дело пошло на лад, хотя этот проклятый волдырь до сих пор не пускает меня в море. Так что не купаюсь уже три дня, но бледный, худой, с молодым животиком, в рваной тельняшке, никому не нужный, но одухотворённый, печатаю на машинке, суша бычков. Ем черешню.

Здесь не так уж плохо, хотя и плоховато. Под окном комнаты бегают дети. Они кричат и иногда отвратительно какают. Тем не менее мне жаль, что ты не приехал сюда. Мы бы с тобой плавали на лодке в море ловить бычков, которых пропасть. Всё время вспоминаю наш разговор в электричке насчёт книжки «Сорок сороков». Мне кажется, это стоящее дело. Готов помочь тебе как угодно, вплоть до соавторства. Обнимаю тебя, мой дорогой. Надеюсь, что ты встретишь весьма соскучившегося по тебе твоего дядьку, сидящего в данный момент под акацией. В заключение скажу, что я тобой премного доволен. Будь здоров. 30 июня 76 года. Юра».

На обратной стороне листа правленный вдоль и поперёк машинописный текст как раз рассказывал о посещении Тетеринских бань героями «Пяти похищенных монахов».

«Они шли медленно и величаво, у каждого в руке берёзовый веник, а в другой портфель.

Высокий, битый молниями тополь с чёрными узловатыми ветвями склонился над входом в переулок», — было вписано каким-то лиственным, растительно-летним, убедительным почерком.

«Конечно, насочинять можно с три короба, — говаривал, бывало, Юра, — но всё это вряд ли удержится без точных образных деталей, которые надо узреть собственными глазами»...

«Здравствуй, Саня, мой дорогой друг и любимый товарищ! Вряд ли ты видел солнечное затмение? Проворонил, наверное. Я вчера смотрел это затмение и простудился, надуло мне зуб. Болит, ревёт и стогне. Стараюсь работать и в рот не беру спиртного. Пишу «Монахов» и «Размышления о своей «литературной молодости» по заказу Интернациональной библиотеки в Мюнхене. Пишу и думаю, не старость ли это, размышлять о «литературной молодости»? Обнимаю и посылаю 20 рублей как средство от землетрясений. Не вздумай на них мне ничего покупать — гуляй. Помню, я в твои годы скакал на бешеном коне, рубал шашкой, строчил из пулемёта, а теперь вставляю себе зубы, печалюсь о былом, глажу кошку. Нет, всё это уже не то. И сердце в груди даёт свои перебои. И всё-таки мы ещё, Саня, мы всё-таки ещё имеем кое-что, а не только печаль о прошлом. А имеем мы, между прочим, плечи, и хотя не сияют на них золотые погоны и ордена, что обидно, зато под простую рубашку в них бьётся горячая кровь. И вы, дорогой наш товарищ, на эти кровавые, изрубленные бытом плечи можете опираться, как вам надо. Но мы не подставим эти плечи всякому шкуре и говну, а вам, дорогой товарищ, мы их подставляем и го-



ворим: «Нате вам эти плечи. Обопритесь на них, отдохните от грубого быта». Итак, дорогой товарищ, мы дарим вам эти плечи, кроме книг, которые припасены. Но мы отнимем от вас эти плечи и даже начнём ими пихаться, если вы не будете выполнять наши заветы. И первый завет: не быть болваном и простодырой и не давать обводить себя вокруг пальца. А второй: не отчаиваться и не терять надежды, хотя это и к нам относится. Третий: любить родных и не терять друзей, что довольно-таки порой и трудно. Четвёртый: оставаться самим собой, что у вас получается пока неплохо. И только лишь надо это углубить. Пятый: не жениться раньше времени. Шестой: писать и рисовать, не лентяй и не стесняясь, и пускай свирепствует вьюга или гложет голову жара. Есть, наверное, и ещё заветы, да что-то не можем пока их припомнить. Твой, между прочим, отчасти дядька и детский писатель — ЮрКоваль».

В журнале «Юный художник» Юра прочитал мой очерк о самаркандском медресе «Регистан», где, в частности, отмечалось, насколько величаво звучит это имя. «Да уж, действительно гордо, точно гимн Советского Союза!» — припомнил он соавтора государственных стихов Гарольда Эль Регистана.

Юра любил и знал этот мир, даже если иной раз чего-то недопонимал и недолюбливал. Не слишком углублялся в социально-общественное устройство и метафизику, наслаждаясь всеми доступными положительными чувствами, которые особенно блаженствовали вдали от Москвы.

«Собираюсь много сейчас ездить, жить в Москве тяжело и неприятно», — вздыхал он.

Само понятие «дача», особенно подмосковная, приводило его в сдержанное уныние. А в глухих деревнях, среди лесов, озёр и рек, он расцветал. Легко сходилась с местными мужиками, от которых порой неизвестно чего можно было ожидать. Умудрялся найти общий язык и мирно разойтись с совсем уже тёмными личностями, сдерживая притом мои глуповатые порывы помериться силой и постоять за некую отвлечённую правду.

Единственное, чего он опасался, так это стада коров. Не понимал их коллективно-печального, глубокого взгляда и на всякий случай сторонился.

Пожалуй, Юра стремился к первобытной простоте, не отвергая, впрочем, достижений цивилизации, вроде домов творчества или телескопической удочки, которые тоже принимал как своеобразные явления природы.

«О жареный пупок!» — воздевал он, как авгур, руки к летящим в небе весенним гусям. И огорчался, если не находил в окружающих созвучного восторга.

У него было множество знакомых, пребывающих в большинстве своём на зыбкой грани между друзьями и приятелями. В те годы к мужской дружбе вообще относились куда серьёзнее, ответственнее, вкладывая в неё хемингуэвский смысл товарищества по оружию. Незначительная осечка в поведении могла привести к долгому разрыву отношений — друг переходил в разряд приятеля, а приятеля вообще списывали с корабля. Так пострадал император Тиберий, свергнутый в одночасье за поверхностные рас-

суждения о живописи и высокомерное пристрастие к краскам на основе полудрагоценных камней — тёртых малахита и лазурита. «Сик транзит», — побледнел он, покидая мастерскую в Серебряническом переулке. «Пригляди за ним, — попросил меня Юра, — кабы в Язу не бросился»...

У меня-то, наверное, таких осечек было предостаточно, но Юра прощал как непутёвого конгу. Только удивлённо приподнимал бровь — мол, не понимаю, в чём дело, что с тобой такое, офонарел?

Как-то, заприметив мою безответную влюблённость в некую барышню, он сказал между прочим: «Еду вчера в трамвае с одной роскошной, отчасти знакомой, дамой. Вдруг в районе Покровки она склоняется ко мне и говорит: поцелуй меня. Не колеблясь, как истинный схимник, отвечаю: три рубля! Ну и схлопотал, конечно, по уху. Да, брат, женщина — чудо. Однако мало ли в мире чудес? Всё тлен, прах и к тому же суета сует. Давным-давно ведь сказано — не сотвори себе кумира!»

Со временем, случалось, и я уже не взираю на него как прежде, бесконечно-счастливо-щепчальными глазами. Но уж коли он брал гитару, прежнее блаженство немедленно возвращалось.

«Вот вывихнул палец, — пожаловался однажды Юра, тронув струны. — Представь, покалечился, надевая носок. Только никому не говори о моём позоре»...

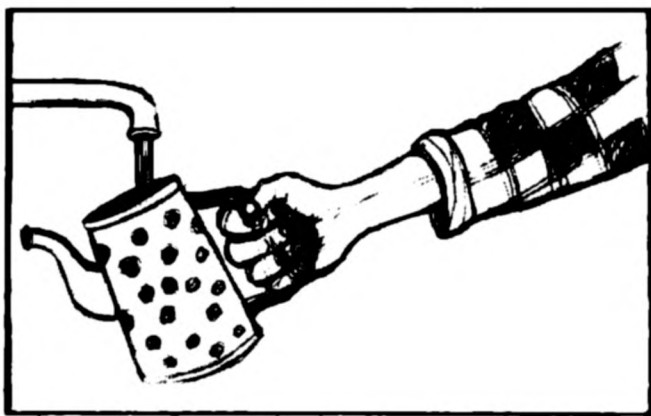
И я честно молчал. Недавно сообразил — как здорово, если ничего позорнее не припомнить.

Когда в день Ильи Пророка он расставал-

ся с этим миром, в холоде его застывшего лба ощущалась усталость метелей, а на лице замерли удивление и сожаление. Верно, опечалился, не в силах рассказать о том, что теперь видит и слышит.

Но и по сию пору, как откроешь его книги или подумаешь о нём, так наполняешься радостью, любовью и простым знанием — это только кажется, что его нет.

Увы, далеко не все Юрины заветы я в точности исполнял, зато этот хорошо запомнил, как он и просил лет сорок назад.



появился на свет в Москве, в роддоме имени Клары Цеткин, что на Таганке середины прошлого века. Неизвестно почему, но именно такое стечение обстоятельств вызвало желание поделиться с миром чем-нибудь сокровенным в литературной форме. Так и возник первый рассказ «Луна и рыба», опубликованный в 1969 году в журнале «Рыбоводство и рыболовство».

С тех пор вышло более двадцати книг для детей, в числе которых «Белый воробей», «Ночная радуга», «Дом в снегу», «Заоблачные истории», трилогия о юности императора Петра Первого.

Печатался практически во всех детских журналах и разнообразных сборниках. Многие рассказы были инсценированы для телевизионной программы «Спокойной ночи, малыши!».

Лауреат премии журнала «Костёр» за лучшие рассказы года.

Переведён в странах запада — Мексика, Голландия, Польша, Югославия, и востока — Китай, Монголия.

В восьмидесятых годах работал в славном тогда журнале «Мурзилка», откуда отправился на десять лет в Мексику. Жил в тамошней гигантской столице и на маленьком острове Косумель посреди Карибского моря, где писал картины, ловил лангуст и обтрясал кокосовые пальмы.

Вернулся в Москву в 2001 году. Перемена мест и начало нового века привели к тому, что начал писать повести и романы для взрослых: «Мексиканский для начинающих», «Московское наречие», «Летопись вечной мерзлоты», вышедшие в издательстве АСТ.

Самый большой комплимент о своём творчестве услышал когда-то от пермского писателя Льва Кузьмина: «Когда читаешь твои рассказы, хочется жить!»

Остаётся добавить, что с тех самых пор стремлюсь написать так, чтобы прочитавшему мои произведения не только хотелось жить, но и заново родиться, хотя бы и на Таганке, в род-
доме имени Клары Цеткин...





**Юрий Нечипоренко
СМЕЯТЬСЯ И СВИСТЕТЬ**



**Ксения Драгунская
МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ**



**Ольга Колпакова
БОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ
ПРО БАБУШКУ**



**Сергей Георгиев
СОБАКИ НЕ ОШИБАЮТСЯ**

**www.facebook.com/DlyaTehKomuZa10
vk.com/DlyaTehKomuZa10**

В нашей серии писатели рассказывают смешные и грустные истории, в которые они попадали, — и делают это так живо и увлекательно, что истории эти можно рекомендовать как хороший перевод с взрослого на детский для всех ребят, которым любопытно не столько выдумки, сколько настоящая, реальная жизнь, — и, конечно, как «лекарство от сухости» тем взрослым, которые уже подзабыли детство.

Важно не только то, что сочиняет писатель, но и то, как он это делает. Все жанры хороши, кроме скучного: и, уверяем вас, с нашими писателями вы не соскучитесь, о чём бы они ни писали, всё будет ярко, сочно, здорово!

Наш девиз: «Для тех, кому за 10» отмечает всякий «расизм» по возрасту, всякий «взрослизм». Взрослые говорят порой: тебе этого не понять! Как обидно слышать эти слова... Хороший писатель может рассказать о самых сложных вещах и переживаниях так, что сможет понять ребенок. Такие писатели будут в нашей серии!

Юрий Нечипоренко, Ольга Колпакова, Александр Дорофеев, Сергей Георгиев, Михаил Есеновский, Сергей Седов...



художественная детская образовательная литература

КНИГИ
для семьи



издательство
«ЖУК»



<http://vk.com/zhukbook>

twitter.com/zhuk_book

facebook.com/zhukbook

101000 Москва, ул. Мясницкая,

+7 (495) 623-87-66, 625-65-03

Литературно-художественное издание

ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

БОЖИЙ УЗЕЛ

Редактор

Куцубова Т. Н.

Художественный редактор

Подколзин Е. Н.

Оформление

Зубченко К. А.

Корректор

Киселева З. В.

Подписано в печать 19.12.2012

Формат 60х90/16

Заказ № 1608

тираж 2000 экз

www.bookzhuk.ru

admin@zhuk-book.ru

ISBN 978-5-903305-48-3



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

www.oaompk.ru, www.oaompk.rf, тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685

skan Larisa_F

